



Валентин Пикуль

**Тайный советник.
Исторические миниатюры**

«ВЕЧЕ»

2002

Пикуль В. С.

Тайный советник. Исторические миниатюры / В. С. Пикуль —
«ВЕЧЕ», 2002

Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, “то же исторический роман, только спрессованный до малого количества”. Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов ярких исторических личностей XIX – начала XX веков.

© Пикуль В. С., 2002

© ВЕЧЕ, 2002

Содержание

ОТ АВТОРА	5
Потомок Владимира Мономаха	7
Тепло русской печки	17
В трауре по живому мужу	24
“Ошибка” доктора Боткина	32
Тайный советник	41
Битва железных канцлеров	50
Человек, переставший улыбаться	59
Вольное общество китоловов	64
Генерал на белом коне	69
Как попасть в энциклопедию?	81
Вольный казак Ашинов	91
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Валентин Пикуль

Тайный советник

Исторические миниатюры

ОТ АВТОРА

Определение жанра – дело непростое. До сих пор не пойму, чем длинный рассказ отличается от короткой повести. Хотя разница между повестью и романом более ощутима, и роман, мне кажется, оставляет больше простора для читательских размышлений и домыслов, нежели повесть. Впрочем, еще никто не возражал Гоголю, который нарек свои “Мертвые души” поэмой...

Не берусь точно определить жанр предлагаемых мною исторических очерков, которые не рискну называть историческими рассказами. Я всегда называл их *миниатюрами*, и смею думать, что вряд ли ошибался. Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной.

Она – интимна, к ней надо приглядываться, как к книжному петиту. Были такие миниатюры на Руси, которые укладывали портрет в размер пуговицы или перстня, изображая человека разноцветными точками. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется. Но она сразу оживает, если взять ее в руки; наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека...

На этом, наверное, я мог бы и прервать свое авторское вступление. Но чувствую необходимость рассказать, как и когда я, писавший большие исторические романы, вдруг пришел к жанру исторической миниатюры.

Это случилось давно, еще в пору моей литературной молодости. Все мои попытки сочинять рассказы кончались неудачей, ибо рассказы получались очень плохими. И вот, неожиданно для себя, я написал первую из своих миниатюр по названию “Шарман, шарман, шарман!” – о странной и стремительной карьере офицера А. Н. Николаева. Читателям она понравилась, и я тогда же решил испытать свои силы в этом новом для меня жанре.

По сути дела, изучая материалы о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы “роман” сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все мало существенное, я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.

Для меня, автора, каждая миниатюра – это тот же исторический роман, только спрессованный до самого малого количества страниц. Писание миниатюр – процесс утомительный, берущий много времени и немало кропотливого труда. Так, например, миниатюру о художнике Иване Мясоедове в 15 машинописных страниц я писал 15 долгих лет, буквально по крупицам собирая материал об этом странном человеке, о котором в нашей печати упоминалось лишь изредка.

Позволю себе еще одно авторское примечание.

Собрав свои миниатюры под одной обложкой, я не желал бы представить перед читателем только героиню нашего прошлого, ибо в жизни не все люди герои; картина былой жизни была бы однобокой и неполной, если бы я не отразил и людей, живших не ради свершения подвигов, а... просто живших.

Хорошая жена и мать – разве она недостойна того, чтобы ее имя сохранилось в нашей памяти? Наконец, разве мало в нашей истории заведомых негодяев, мерзавцев или взяточни-

ков? Эти отрицательные персонажи тоже имеют право на то, чтобы их имена сохранились в грандиозном Пантеоне нашей истории...

Я человек счастливый, ибо прожил не только свою жизнь, настоящую, но и прожил судьбы многих героев прошлого.

О великом значении истории в духовной жизни народа издревле было сказано очень много, и здесь я напомним лишь слова знаменитого Цицерона:

НЕ ЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДО ТОГО, КАК ТЫ РОДИЛСЯ, ЗНАЧИТ НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ НЕРАЗВИТЫМ РЕБЕНКОМ.

Это веское мнение знаменитого оратора древности я мог бы подкрепить многочисленными афоризмами русских мыслителей, но из великого множества их высказываний напомним лишь слова нашего славного историка В. О. Ключевского: «История – это фонарь в *будущее*, который светит нам из *прошлого*...»

Итак, перед нами сборник исторических миниатюр.

Все они расположены в хронологическом порядке.

А этот порядок для читателя – самый удобный.

Потомок Владимира Мономаха

Алексей Борисович князь Лобанов-Ростовский...

Назвав это имя, хочется задать школьный вопрос:

– Д е т и, поднимите руки, кто его знает?

Дети “этого не проходили”. Князя знают лишь историки и дипломаты, ибо он сумел прожить две жизни – как историк и дипломат. У меня, автора, дня не проходит, чтобы я не обращался к трудам Алексея Борисовича. Допустим, понадобилось выяснить, на ком был женат безвестный поручик Данила Глинка – ответ нахожу в родословных книгах князя; забираюсь в дебри стародавней политики – и опять возникает его имя. Наконец, он ведь был и просто человек – со своими личными страстями, с кризисами сердечных мук, он терпел унижения, падал и снова возвышался. “Но князь Лобанов всегда оставался порядочным человеком”, – судили современники, служившие с ним.

Добавлю, что Лобановы-Ростовские при их въезде в город Ростов Великий имели право принимать особые почести – со звоном церковных колоколов и с пальбою из пушек, но сами от этих почестей отказались.

Кстати уж, скажу сразу, что Лобанов-Ростовский не имел земельной собственности, помещиком никогда не был, а жил на свои кровные – от жалованья. Читателям, сызмала воспитанным на школьной “премудрости”, наверное, это обстоятельство покажется странным, однако же это было именно так...

Юный князь Алексей Борисович выходил в жизнь из Царскосельского лицея в 1844 году с чином титулярного советника; получивший золотую медаль, он был занесен на мраморную доску и, наверное, как и все лицеисты, приветствовал свое будущее словами лицейского гимна на слова Дельвига:

Шесть лет промчались, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины.
И уж Отечества призванье
Гремит нам: “Шествуйте, сыны!”

Евгений Шумигорский, редко поминаемый нами историк, писал, что в Лицее “были живы тогда предания пушкинской эпохи, и в глазах его воспитанников имя их знаменитого однокашника неразрывно соединялось с понятием любви к родной земле и к ее родной старине”. Вот это – последнее – очень важно для нас: врожденный, а не навязанный свыше патриотизм всегда неотделим от жажды познания истории своего народа...

В годы лицейской младости князь еще застал в живых вельможных старцев, для которых “золотой век екатеринства” был их юностью, их буянством-окаянством, их осмысленной зрелостью, вскормленной на обильных пажитях вольтеровского свободомыслия. Для них, этих реликтов прошлого, было проще простого удавить одного императора, чтобы “подсадить” на престол его жену, а потом с подобною же легкостью они пришибли табакеркой и ее сына. Эти старики, уже обессиленные годами и болезнями, многое помнили, и юный князь остро воспринимал их суждения о былом. Тогда же Лобанов-Ростовский приучил себя записывать то, о чем не писалось в книгах, а лишь передавалось из уст в уста, как нечто запретное, о чем говорить громко не следует.

“Осьмнадцатый” век стал его сокровенной, а царствование Павла I излюбленной темой для исторических изысканий. Однажды князь узнал, что в провинциальной глухомани доживает, вот-вот готовый умереть, престарелый вельможа, который унесет в могилу тайны своего времени. Алексей Борисович, не раздумывая, пустился в путь. Отыскав имение старца, он

нашел его дом будто вымершим, даже собаки на псарне не лаяли. Оказалось, что вельможа обращал день в ночь, а будить его было нельзя. Лишь к вечеру он проснулся, и в полночь состоялся завтрак – при свечах в старомодных шандалах. Старик невольно разговорился, и Алексей Борисович до самого рассвета брал “интервью”, получая такие интимные тайны двора и политики, о которых в русском обществе едва догадывались. Понятно, что много лет спустя князь Лобанов-Ростовский легко и часто рисовал для друзей, в каком порядке была расставлена мебель в спальне императора Павла I, когда в нее ворвались убийцы.

– Завидую людям, жившим в восемнадцатом веке, – не раз говорил Алексей Борисович, – им было намного вольготнее жить, нежели всем нам, которым выпало влачить до конца века девятнадцатый, обреченный двигаться уже не страстями людей, а лишь ускоренный силою пара в мудреных машинах...

“Влачить” свою карьеру в этом столетии было нелегко, особенно при Николае I, когда внешней политикой России заправлял горбоносый карлик Нессельроде.

Именно при нем Лобанов-Ростовский и начинал карьеру. Можно было позавидовать своим немало куролесившим предкам, если при Николае I все строилось по ранжиру, по чинам, по регламенту... д у ш но!

Но служить все равно надо, и карьера началась в хозяйственном департаменте министерства иностранных дел. Правда, потомку Владимира Мономаха как-то не пристало сидеть в бухгалтерии, калькулируя расходные суммы на званые ужины, и в 1849 году царь отличил князя званием камер-юнкера. Нессельроде обещал:

– При первой же вакансии я найду вам место за границей...

Тогда или позже Лобанов-Ростовский сошелся с князем Петром Долгоруким, с позором изгнанным из пажей за дурное поведение. Это был человек большого и очень злого ума, такой неслыханной дерзости, что Бенкендорфу с его присными надоело выслушивать доклады о его скандалах. Ссылка в Вяткунисколько не образумила его, напротив, разгорячила, и Долгорукий в своих писаниях пощадил на белом свете лишь одного человека – это был Герцен, ставший потом свидетелем его предсмертной агонии.

Долгорукого все боялись, ибо он обладал страшной и сильной властью над людьми – знанием генеалогии дворянства, отлично владея секретами самых знаменитых родов. Побывав за границей, Долгорукий выпустил книжку о закулисных тайнах родословия титулованных фамилий, и эта книга вызвала сильное раздражение в правительстве Николая I, ибо князь открыл легендарный “ящик Пандоры”, доставив немало неприятностей князьям и графам.

Лобанов-Ростовский говорил князю Долгорукому:

– Конечно, “Бархатная Книга” – это не собрание непреложных истин, но вас боятся, ибо вы не пощадите даже своих предков.

– Боятся, – отвечал Долгорукий, – потому что, владея подлинной генеалогией, я в любой момент могу убить любого придворного, доказав, что его бабка изменила мужу с кучером, а род князей Воронцовых давно пресекся, “полу подлец, полу невежда” Воронцов, что сидит в Крыму, совсем не Воронцов, а самозванец, ибо подлинные Воронцовы давно все вымерли...

Мало кто знает, что знаменитый четырехтомник П.В. Долгорукого по названию “Российская родословная книга” вместил в себя немалую долю генеалогических материалов, собранных не автором, а именно Лобановым-Ростовским, который великодушно уступил их своему собрату-историку. Об этом стало известно гораздо позже, и то не всем, а лишь избранным. П. В. Долгорукий закончил свою жизнь в отчуждении эмиграции, а князь Лобанов-Ростовский продолжил начатое им дело...

Был 1850 год, когда Нессельроде сообщил ему:

– Открылась вакансия при нашем посольстве в Берлине, не соблаговолите ли начинать службу секретарем миссии?

Алексей Борисович выехал в Берлин, увозя с собою огромные кофры, заполненные историческими материалами, чтобы там, в Берлине, дни посвящать дипломатии, а ночи отводить для истории в ее самых загадочных и необъяснимых явлениях. Именно в Берлине князь начал открывать неизвестные страницы русской истории, именно в Берлине он пережил, как патриот, сильные душевные муки, когда николаевская эпоха завершилась трагической Крымской кампанией.

– Конечно, – рассуждал он в кругу чиновников посольства, – муза дипломатии помалкивает, когда грохочут пушки, но она начинает улыбаться и даже кокетничать, когда пушки закатывают в арсеналы. Не сомневаюсь, что после войны начнутся перемещения, и не знаю, куда направят меня...

С кончиною императора Николая I исчез и его прихвостень Карл Нессельроде, ничего, кроме вреда, для России не сделавший, и после Крымской войны следовало обновление дипломатических штатов. В апреле 1856 года Алексей Борисович снова паковал свои гигантские кофры. С берегов мутного Одера его переводили на лучезарные берега Босфора – советником миссии. Молодой человек делал очень быструю карьеру, еще не в силах предвидеть, что скоро она затрещит, словно непутевый корабль, выброшенный на рифы, и виною крушения будет, конечно, женщина.

Не потому ли он и остался вечным холостяком?

Турция, как известно, заодно с Англией и Францией воевала против России, потому была страной-победительницей, когда в ее столицу прибыл советник миссии, представлявший свою родину – как страну побежденную... Положение неприятное!

Возглавлял посольство прожженный дипломат Аполлинарий Бутенев, начинавший карьеру в политике еще накануне Аустерлица. Старик был умен, а настроен критически:

– Будем выкарабкиваться из пучины самодовольства и бахвальства, в которую нас загнал покойный, наобещавший народу сорок бочек арестантов и вовремя улизнувший в могилу от всеобщего презрения. Главное – восстановить добрые отношения с турками. Знайте, князь, что на Востоке то, чего не добиться путем официальным, следует проводить через личные отношения.

Бутеневу не нравилось, что князь еще холост.

– Впрочем, – сказал он, – на Босфоре можете не бояться женщин, ибо все дамы сидят по гаремам и тихо чирикают. Так что с этой стороны ваша карьера в безопасности...

Напророчил! В этот же день князь Лобанов-Ростовский представлялся во французском посольстве, где и встретил мадам Жюльетту Буркинэ, жену секретаря французской миссии.

– Здесь, – сказала она, явно кокетничая, – мне следует бояться только мужчин, ибо, не запертая в гареме, я окружена всеобщим мужским вниманием, и при этом я чувствую себя так, словно меня раздели догола посреди улицы...

Жюльетта была красива, и потому князь тактично ответил ей, что внимание мужчин вполне обоснованно:

– Однако меня вы не бойтесь, ибо я начинаю бояться вас.

– Не надо, – капризно ответила Буркинэ. – К сожалению, я имею мужа, выше всякой меры озабоченного своей карьерой.

– Какое приятное совпадение! – шутливо удивился Алексей Борисович. – Я озабочен именно тем же, чем озабочен и ваш муж. Но, в отличие от него, я, увы, остаюсь пока холост.

Но, кажется, мадам Буркинэ тогда же решила прибавить забот не только мужу, но и советнику русской миссии. Впрочем, Алексей Борисович в ту пору терзался совсем иными муками, далекими от сердечных; он установил приятельские отношения с визирем, создал блестящее положение при дворе султана Абдул-Меджида, уже близкого к маразму от пресыщения благами жизни. Парижский мир не принес спокойствия, ибо возникла резня христиан, а в Болгарии,

Боснии и Дамаске начинались волнения народов. Пользуясь вниманием у “Порога Счастья”, Алексей Борисович буквально спас от истребления черногорцев и сумел повлиять на султана, чтобы тот оставил в покое народ Ливана.

Наградою ему были чин статского советника, приобретенный в 1857 году, а еще через два года посол Бутенев сдал ему дела русского посольства, и князь – в возрасте тридцати пяти лет – занял высокий пост чрезвычайного посланника и полномочного министра, с чем его поспешила поздравить Жюльетта Буркинэ.

– Вы делаете большие успехи, – игриво намекнула женщина, – и моему бедному мужу за вами никак не угнаться. Однако, изыскивая милости у султанского “Порога Счастья”, не слишком ли вы, русские, ущемляете честь и авторитет Франции?

– Ни в коем случае, мадам! Как можно пренебречь интересами Франции на берегах Босфора, где вы столь достойно представляете все самое прекрасное, чем может гордиться Франция...

Так шутить с француженкой нельзя – это опасно!

Слова, сказанные ради обычной любезности, парижанки воспринимают не так уж просто, как эти слова произносятся. Вежливое восхищение ее красотой, высказанное князем, Жюльетта Буркинэ расшифровала на свой лад – как долгожданное объяснение в любви.

Но, сама тайно влюбленная в посла России, далее она поступила... Как бы это сказать? Чересчур смело.

Верно, что в личной отваге ей никак не откажешь.

Был уже поздний час; Алексей Борисович вернулся с прогулки в Буюк-Дере, и лакей посольства предупредил его, что в кабинете посла давно ожидает некая дама под вуалью. В просвете окна кабинета смутно брезжила тень женской фигуры.

– Да, – услышал он голос Жюльетты, – я готова ответить на ваше чувство своим чувством. С прошлым я порвала навсегда, чтобы остаться с вами... и тоже навсегда! Вы меня любите?

Алексей Борисович понимал: женщина пришла к нему не ради минутного каприза, а после мучительной душевной борьбы, теряя все на свете ради внезапного чувства. Оскорбить женщину в такие моменты – это все равно что плюнуть ей в лицо.

– Да, я люблю вас, – признал Лобанов-Ростовский, – и в моем ответном чувстве вы, мадам, можете не сомневаться...

Ночь кончилась, их первая ночь любви, а утром, когда Жюльетта проснулась, она увидела князя за рабочим столом.

– Что ты пишешь, мой дорогой?

– Прошение об отставке.

– Для чего? Ведь твоя карьера складывается отлично.

– Но еще лучше складываются наши отношения, моя прелесть.

– Не пойму тебя...

– И не надо понимать. Но в Петербурге поймут все сразу.

Алексей Борисович был удален в отставку “по домашним обстоятельствам”, и это была еще не самая худшая форма отставки. У “Порога Счастья”, где князь оставил немало друзей-турок, искренне жалели об его удалении, ибо князь умел примирять непримиримое. Но женщина перебежала дорогу, чтобы из французского посольства найти счастье в русском, и это было несправимо. Влюбленные поселились на юге Франции, намеренно чуждаясь общества, а петербургские сородичи переживали крах карьеры князя почти болезненно, обвиняя его в легкомыслии.

Но Алексей Борисович никогда не винил Жюльетту:

– Я только уступил обстоятельствам, жертвуя лишь карьерой. Но она, придя ко мне, жертвовала всем, чем дорожит каждая женщина. Да и что значит моя карьера перед словами любви? Женщина в любви всегда права. Но я тоже был прав, – доказывал Лобанов-Ростовский. – Было

бы неблагородно и даже подло отвергнуть женщину, кинувшуюся в мои объятия, словно в омут...

Три года он был счастлив. Но, очевидно, тогдашний переход через улицу – из одного посольства в другое – дался Жюльетте не так уж легко. Она быстро таяла от чахотки. Благодаря князя за все, что он ей дал, она угасла на его же руках, и, зарыдав над нею, быстро хладеющей, он в ужасе услышал, как рвется с улицы музыка веселого карнавала... Это было так страшно, так непонятно и так естественно! Жизнь продолжалась.

По возвращении на родину, еще страдающий, князь решил покончить со служением в дипломатии и поступил в штат министерства внутренних дел. Граф Петр Валуев, управлявший министерством, был настроен очень благожелательно:

– Вы, наверное, хотите губернию? Какую?

– Мне сейчас хочется быть подальше от света...

Летом 1866 года князь начал управлять Орловской губернией, но и сам называл себя губернатором “случайным”, и уже весной 1867 года сдал дела писателю-историку Михаилу Лонгинову:

– Я ничего в Орле не построил, никого не обидел и никого не высек, ибо переход из политики внешней в политику внутреннюю меня не обрадовал, а скорее испугал...

Еще больше “испугал” его император Александр II:

– Князь, что у вас там случилось в Константинополе?

– Обычная история – с женщиной.

– Обычная? Согласен. Но... скандальная?

– Скандал не ухудшил русско-французских отношений, ибо я не уводил женщину из гарема, она сама покинула мужа.

Этот разговор возник в Зимнем дворце, где князь представлялся императору, и острота их беседы понятна, если учесть, что Александр II был самым отчаянным бабником.

– Вы забыли ее за эти минувшие годы? – спросил он.

Лобанов-Ростовский, напротив, женолюбом не был:

– Нет, ваше величество. Не забыл. И не забуду.

– Так считайте, князь, – решил император, – что я забыл эту историю с чужой женой, желая видеть вас подле себя...

После этого он стал товарищем министра внутренних дел!

Семь лет ведал делами о раскольниках, участвовал в разработке главных реформ (достойных более светлой памяти), и в наши дни по настоянию князя Лобанова-Ростовского все гражданские посты в провинциях достались чиновникам, а не генералам, князь преобразовывал порядок в следственных органах и прочее. Покинув мир дипломатии, Алексей Борисович был по-прежнему окружен иностранными послами, среди которых выделял баварского Труксес-Ветцгаузена, бразильского Рибейро де-Сильва, английского Уильяма Румбольда – все эти амбасадоры были мужьями его кузин, ибо Лобановы-Ростовские имели обширное космополитическое родство. Румбольд в своих мемуарах писал: “Лобанов был одним из самых чарующих представителей русской аристократии, ибо давно известно, что если члены избранного русского общества задаются намерением прельстить кого-либо, то они воистину неотразимы... Эрудиция же князя в области русской истории была поразительна!”

Пожалуй, история и была главным смыслом жизни Алексея Борисовича. По службе он невольно сталкивался с современниками, весьма далекими от совершенства, выискивая примеры благородства в людях, давно отживших свой век, “стараясь найти в их деяниях побуждения более возвышенные, нежели те, с которыми приходилось считаться ему, современному дипломату” – так писал о князе Лобанове-Ростовском историк А. А. Половцев.

Алексей Борисович даже не скрывал этого, говоря:

– Днями, встречая подлецов и мерзавцев, я по ночам зарываюсь в прошлое России, отдыхая душой на привлекательных чертах предков, которые ограждены от злословия потомков надгробной плитой из мрамора. Меня очень увлекает резкое несходство мертвых с живыми, и чем меньше люди бывшего схожи с моими современниками, тем большее мое внимание они привлекают...

Эпиграфом для всей своей жизни князь с удовольствием проставил бы цитату из сочинений поэта П. А. Вяземского, который выделил значение примеров бывшего для развития нравственности в потомственных поколениях: “В наше время, – писал он, – надобно мертвых ставить на ноги, дабы напугать и усостыжить живую наглость и отучить от нее нынешних ротозеев, которые еще дивятся ей с коленопреклонением...”

Сказано так сильно, что можно высекать на скрижалях!

Между тем, все им написанное Алексей Борисович хранил втуне, редко выступая в печати. Погружаясь в прошлое, он избирал в истории не исхоженные никем тропы – отыскивал людей, забытых или же таких, биографии которых казались ему загадочны; его привлекали личности, отмеченные роком несчастий. Наверное, он по-своему был прав в своих изысканиях. В конце-то концов, о Пушкине или Суворове написано много (и будет написано еще больше), а вот высветить во мраке облик какого-либо человека, о котором все молчат, – это задача кропотливая, почти болезненная, ибо могила молчит, архивы молчат, а вокруг – нелюдимая тишина, и никто тебе ответно не откликается...

Страшно нарушать покой давней могилы, где только прах да кости, перемешанные с лохмотьями истлевшей одежды, и так же страшно бывает погружаться в чужую, давно отшумевшую жизнь человека, наполненную страстями, любовью, гневом, завистью, гордостью, унижением и несбыточными мечтами.

– Куда все это делось? – мучительно размышлял князь над судьбами людей, неслышно отошедших от нас в вечность...

В эти годы русская интеллигенция охотно читала ежемесячные выпуски исторических журналов “Русская старина” (М. И. Семевского) и “Русский архив” (П. И. Бартенева). В этих изданиях Лобанов-Ростовский иногда помещал свои исторические заметки, и Семевский удивлялся его познаниям в генеалогии, без которой немислимо проникновение в русскую историю:

– Я чувствую, князь, что вы знаете родство меж фамилиями не только знатными, но и захудалыми... Откуда у вас это?

Алексей Борисович сознался, что когда-то помогал Петру Долгорукому, а теперь решил дополнить его четырехтомник своими родословиями. По этому поводу он имел собственное мнение:

– Конечно, легко изучить ход событий в истории, но потаенные пружины этих событий иногда зависели от родственных связей, а русское дворянство перероднилось меж собою столь широко и плотно, что иногда генеалогические таблицы кажутся мне намного сложнее алгебраических формул. Что сокрыто для нас снаружи, то открывается лишь изнутри, если прибегнуть к помощи генеалогических разведок.

– Я ведь не только историк, но еще и издатель, – сказал Семевский. – Доверьте мне ваши родословные материалы.

– Простите, я занимаю такой пост в государстве, что мне неудобно выставлять свое имя на обложке издания.

– А мы издадим ваш “портфель” анонимно...

Так появилась “Русская родословная книга” в двух томах, в предисловии которой было сказано, что составил ее некий любитель истории, который, занятый службою, досуг посвящает вопросам отечественной генеалогии. Но аноним был вскоре разоблачен, и в печати князя Лобанова-Ростовского открыто нарекли “величайшим из современных разработчиков оте-

чественной генеалогии». Был 1876 год, когда Алексея Борисовича избрали в почетные члены Академии наук.

Вскоре же началась война за освобождение болгар от давнего османского ига, и Александр II предупредил князя:

– Вы, кажется, засиделись в Петербурге, и, возможно, для вас в скором времени сыщется более важное занятие...

Лобанов-Ростовский уже перешагнул полувековой рубеж жизни, оставаясь мужчиной статным, внешне очень приятным и моложавым, в столице его считали еще завидным женихом, но мадам Буркинэ не была им забыта, а потому матримониальных планов у него не возникало, о чем он сам говорил намеками:

– Обжегшись на молоке, дуют на воду...

Вскоре русская армия вышла к берегам Мраморного моря, в приморском местечке Сан-Стефано был подписан мир с Блистательной Портой, а султан Абдул-Гамид пожелал видеть русского посла у «Порога Счастья» – об этом Лобанова-Ростовского известил канцлер Горчаков, лицеист еще пушкинской эпохи.

– Увы, – сказал он, – в Мраморном море появился британский флот, и я был вынужден предупредить Уайтхолл, что в случае его активности на Босфоре наша армия сразу же берет Константинополь голыми руками. Но мы, россияне, – добавил канцлер, – совсем не собираемся удушать Турцию в ее же берлоге.

– Я не хотел бы возвращаться в Константинополь, – отвечал Лобанов-Ростовский, – ибо с этим городом у меня связаны самые сладостные, но и самые грустные воспоминания.

– А я не хотел бы аккредитовать вас в столице Турции, – договорил Горчаков. – Но об этом просит султан Абдул-Гамид, и нам сейчас не стоит обижать побежденного...

День подписания Сан-Стефанского мира и поныне остается для Болгарии национальным праздником, но русскому послу праздновать было некогда. Хотя на Берлинском конгрессе Европа завистливо свела на нет выгодные условия мира с турками, Алексей Борисович все-таки настоял перед Абдул-Гамидом, чтобы его войска оставили Батум и крепости в Болгарии, султан обещал оплатить России военные издержки в сумме одного миллиарда рублей.

Лобанов-Ростовский получил чин действительного тайного советника, и сам понимал, что выше этого ему уже не подняться.

– Моя лестница закончилась, ее ступени обрываются над могилой, – сказал он без юмора, но и без горького сожаления...

В декабре 1879 года он был спешно переведен послом в Лондон, ибо отношения России и Англии катастрофически ухудшались из-за «афганского вопроса». Это был кризис, неизвестно когда возникший, и никто не знал, когда он закончится. Афганистан, по сути дела, стал как бы барьером между русскими владениями и колониями англичан, которые, желая разрушить этот «барьер», много лет подряд натравливали афганские племена на Россию, и те самовольно захватывали туркменские земли. В этом «афганском» котле князь и «варился» три года подряд, отвергая претензии Кабула, который англичане науськивали против русских. «Афганского кризиса» посол не разрешил (и разрешит его лишь выход наших войск на Кушку), когда его перевели послом в Вену.

На венском вокзале князя встречала племянница, жена австрийского графа Околиччани, бывшего послом в Петербурге.

– Оленька, – сказал ей Лобанов-Ростовский, – я так устал после этой возни с Кабулом, что, надеюсь, на венском Пратере отдохну душой и телом, слушая вальсы Штрауса... Сейчас в Лондоне много говорят о Турции, как о «больном человеке» Европы, которого следует разрезать на куски, словно тушу барана, на всеобщем торжище передела мира, но я думаю, что «больной человек» совсем не собирается умирать. А ты выглядишь очень хорошо, – сказал он племяннице, – на тебя приятно смотреть.

– Ах, дядюшка, почему вы остались холостым?

– Я свою дозу любви уже получил сполна, и, поверь, этой порции мне оказалось вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя несчастным, – отвечал Алексей Борисович...

В годы, проведенные в Вене, он обрел общеевропейский авторитет, став “звездой первой величины” на небесах дипломатии. Здесь же он получил высший орден империи – орден Андрея Первозванного, здесь же в январе 1895 года ему было велено срочно оставить Вену, дабы заступить место посла в Берлине.

– Кажется, – сказал он, – в Петербурге приделывают к лестнице моей жизни дополнительные ступени, чтобы я поднимался все выше и выше... над самым обрывом в пропасть.

Он не успел распаковать багаж в Берлине, когда стало известно, что умер министр иностранных дел Гире, князю указали срочно выехать в Петербург, чтобы заменить покойного в его кресле.

– Моя последняя ступень, – сказал Лобанов-Ростовский.

Он появился в министерстве, внушая чиновникам:

– Талейран утверждал, что в политике ему важен лишь момент настоящего. Не верю в это! Следует признавать важность не только сего дня, но и всей политики прошлого. История для дипломата – лучшая наставница для анализа современности. Разве можно понять намерения Ли Хун-чжана, не учитывая многовековой опыт китайской дипломатии? Политики, не знающие истории стран, в которых они аккредитованы на благо своего отечества, это уже не дипломаты, а лишь жалкие слепые котятка...

Китай он помянул неспроста. Выиграв войну с Китаем, самураи предъявили Пекину такие кабальные условия мира, что Петербург решил вмешаться. Лобанов-Ростовский привлек Францию с Германией для совместного демарша, чтобы принудить японцев умерить свои аппетиты. Это был первый успех Лобанова-Ростовского на поприще министра. При этом немецкие дипломаты намекали ему о праве России на владение турецкими проливами.

Но Лобанов-Ростовский отвергал эти намеки.

– Напротив, – говорил он, – Россия не желает конца Оттоманской империи, о чем так сильно мечтают в лунные ночи на берегах Темзы, провоцируя Европу на раздел Турции.

– Вы, князь, просто влюблены в Восток! – упрекали его.

– Я свое на Востоке отлюбил и желаю, чтобы на Востоке уважали Россию – как страну справедливости...

Алексей Борисович умел воздействовать на императора Николая II, который, повидавшись с кайзером в Висбадене, заявил вполне определенно: “Я не интересуюсь Босфором, отныне мои взоры обращены в сторону Китая...” Пекин, благодарный России за ее вмешательство в дела мира с японцами, прислал в Москву своего лучшего дипломата Ли Хун-чжана – старика хитрого и продажного. Как раз в это время шла прокладка Сибирской железной дороги, которая должна описывать большую дугу вдоль течения Амура, и министр финансов С. Ю. Витте подсказал:

– Наши рельсы уже протянуты до Забайкалья, пора решать – что делать дальше? Если уговорим Ли Хун-чжана, чтобы позволил тянуть рельсы через Маньчжурию, тогда Россия сократит путь от Москвы до Владивостока сразу на ПОЛТЫСЯЧИ верст. В таком вопросе не стоит скупиться перед Ли Хун-чжаном, ибо рельсы и шпалы обойдутся нашей казне намного дороже...

Так возникла Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД).

Между политическими делами Лобанов-Ростовский переиздал свои “Русские родословные книги”, дополнив их новыми материалами, и составил проект образования Русского Генеалогического Общества – это была давняя мечта всей его жизни! В августе 1896 года он отбыл

в Вену, где ожидали Николая II с визитом. Племянница Ольга Околичани встретила дядю на вокзале.

– Ах, дядюшка, что с вами?

– Сердце. Не в мои годы влачить этот крест, с утра думал о Марокко, где необходим русский консул, а вечерами... Кстати, Оленька, мне хотелось бы видеть римского посла Нигра.

Нигра, знакомый ему по жизни в Петербурге, встретил князя распахнутыми объятиями – и вовремя, ибо Лобанов-Ростовский обмяк в его руках, почти лишившись чувств. Нигра сказал:

– Наверное, вы, как всегда, не спите по ночам?

– Да, историей лучше всего заниматься ночью.

– Вот история вас и погубит.

– Нет, дорогой, меня погубит политика... Из Вены мне предстоит визит в Лондон, где я не жду ничего хорошего.

– Отмените визит, – советовал Нигра...

Об этом же просила и его племянница Ольга:

– Из Вены, прошу, возвращайтесь домой, ибо, как говорят в народе, дома и солома едома.

Мне что-то беспокойно за вас...

Николай II уступил ему салон в своем императорском экспрессе, и Лобанов-Ростовский надеялся, что в Киеве отдохнет и поправится. 18 августа поезд неожиданно остановился.

– Где мы? – спросил Алексей Борисович.

– Не доехали до станции Шепетовка.

– А почему остановились?

– По желанию государя, который увидел вдали красивую рощу, и свита уговорила его прогуляться.

Алексей Борисович тоже вышел из вагона. Но сразу почувствовал себя дурно и присел на землю, прогревая солнцем.

– Министру худо! – крикнул его секретарь.

Император обернулся на окрик, махнул рукой:

– Внесите его в вагон, прогулку я отменяю. Едем...

Поезд пошел быстрее, чтобы ускорить прибытие в Киев, но, не доехав до Киева, князь Алексей Борисович скончался.

– Разрыв сердца, – доложили царю.

Не было в Европе газет, которые бы не отозвались на смерть русского министра иностранных дел сочувственными некрологами; столичные газеты Европы писали, что политический курс покойного способствовал соблюдению мира и справедливости, а “его политика отныне не исчезнет из преданий народа России”.

Авторское послесловие я считаю необходимым...

“Русская старина” почтила князя некрологом, который заканчивался словами: “Министр, употреблявший свой досуг на изучение русской истории, не мог не любить России, не мог не понимать ее исторических задач, не мог не болеть сердцем ее нуждами и ее страданиями”. Наверное, сердце слишком болело и не выдержало, ибо в канун XX века – уже нашего века! – слишком много накопилось в жизни вопросов и сомнений.

Человека не стало. Но остались после него книги.

Одни, написанные на французском, не переводились на русский, а русские книги никогда не переиздавались.

Между тем без них в нашей истории скучно...

Мечта Алексея Борисовича исполнилась посмертно: в 1897 году было образовано Русское Генеалогическое Общество, в стране стали выходить два толстых журнала, посвященных

поискам в родословиях; наконец, в 1906 году Москва получила особую научную кафедру – по генеалогии, чтобы студенты, будущие историки, приобщались к знаниям родословных сложностей. Но после революции генеалогия сделалась гонима “как служанка буржуазии”. Но ведь история без генеалогии – это сосуд, из которого безжалостно выплеснули живительный напиток.

Много лет нас ограничивали знанием дедушки Льва Толстого или бабушки Александра Пушкина, а дальше не пускали, как не пускают детей в таинственные чащобы древнего леса. От подобного бессилия исторического интеллекта насаждалась генеалогия нового типа, отчего появились, к примеру, “знатная династия токарей Патрикеевых” или “славная династия ткачих Пахомовых”.

Конечно, у нас еще слишком велика сила ложных традиций!

Вспомним хотя бы литератора Георгия Шторма с книгой “Потаенный Радищев”. Шторм сознательно обратился к генеалогии писателя и потому смог открыть для нас нового Радищева – далекого от хрестоматийных штампов, выработанных почтенными историками. Но, Боже, сколько оплеух он получил от ученых именно за то, что поломал закоснелые каноны официальной науки. С обидной горечью Георгий Шторм писал по этому поводу: “Я столкнулся с неписанным, но имеющим силу законом, точнее – традицией: писатель, не принадлежащий к сословию ученых, оказывается немедленно атакованным со всех сторон, если он пытается что-либо открывать...”

Согласен, что генеалогия наука опасная, как и взрывчатые вещества, потому общение с нею рискованно. Но с началом гласности пришла пора углубляться далее... в таинственные дебри пращуров, которые из глубины веков еще нашепчут нам сокровенные тайны минувших столетий. Раскроем книгу Н. К. Телешовой “Забытые родственные связи А. С. Пушкина” – и великий поэт предстает перед нами в ослепительном венце дедовских преданий, совсем в неожиданном родстве с людьми, делавшими историю России. Только познав отдаленных и побочных предков поэта, лучше понимаешь и самого поэта...

А разве у нас не было прабабок или прапрадедушек?

Я заканчиваю свое послесловие, но, простите, в музеях висят все-таки не портреты – нет, это взирают на нас из потемок былого живые люди, внешне очень далекие от нас, но все-таки они чем-то и родственны всем нам, читатель!

Зная прошлое своих предков, мы не можем не любить России, не можем не понимать ее исторических задач, не можем не болеть сердцем ее нуждами и ее страданиями... Разве не так?

Тепло русской печи

Насколько помнится, о мастерстве печника в русской литературе писал только Сергеев-Ценский... Куда подевалась забытая терминология, близкая нашим предкам: туша, хайло, кошачий глаз, шесток, голбец, вьюшки, устье и прочие слова, говорящие о приятном тепле домашнего очага? Мы, русские, по сути дела, выросли от печи, мы танцевали от нее. Она давала в доме здоровье, готовила еду, согревала лежанку, пекла хлебы, а вкус топленого молока всем памятен. За печкой укрывались от женихов стыдливые невесты, за ней наши предки таили то, что надо было спрятать. Бытовали выражения: “Печкой ушибленный”, “Не за печкой родился”; о печках слагали песни, печка вошла в народную мудрость пословицами: “Лежа на печи, выгладил кирпичи”, “Сколь ни валяйся на печи, а генералом не станешь”. Наконец, моя бабушка Василиса Минаевна Каренина рассказывала, что в их деревне парились в печках, как в бане, даже лучше...

Из печной идеи мы, русские, выжали буквально все, что можно. Но, к великому прискорбию, 95 процентов тепла вылетало в трубу. Теперь мы хорошо знаем цену леса. Мы не имеем права отапливать улицу, транжируя деревья на дровишки, и потому я не призываю читателя ломать радиатор парового отопления, чтобы украсить комнаты каминами...

И все-таки разговор пойдет именно о печках!

Наш герой имел не совсем-то благозвучную фамилию – Гнусин, но тут уже ничего не исправишь... Дмитрий Емельянович родился в 1826 году в приволжском селе Городище. Семья была крестьянская, но жила в достатке под надзором деда, потомственного печника, который смолоду промышлял по Руси торговлей в розницу. Наверное, от лотка коробейника, в котором “есть и ситец и парча”, и появился в доме достаток. Дед был уже стар. Но в Ярославль хаживал только пешком, хотя на конюшне Гнусиных стояли лошади. Отшагивал туда 200 верст да еще 200 верст обратно. Вернется под родимый кров и, слова никому не сказав, сразу начинал пороть вожжами всех подряд – сыновей, невесток и внуков. Всыпав всем как следует, доставал из торбы гостинцы и тогда спрашивал:

– Ну, сказывайте, как тут без меня ладили?..

Подобно царю, берегущему свой престол от посягательств, дед никого на печку не пускал. Внуков же своих прогонял с нее по лавкам со словами:

– Брысь отседова! Не баре, чай... Поживите с мое, а потом уж и грейтесь. Увижу кого ишо на печи – все уши пообрываю...

Митенька был еще мал, когда дед стал брать его “в отход” по окрестным деревням, где нуждались в услугах печника. Дед ведал многими тайнами этого древнейшего ремесла. Коли уж невзлюбит кого, тому и отомстит. Бывало, сложит врагу такую печку, что она, никого не грея, только дрова пожирала, а по ночам свистела и даже вздыхала протяжно, подражая повадкам домового.

– Ну хоть из дому беги! – говорили тогда...

Мальчику было десять лет, когда отец вызвал его из деревни в Москву, где он держал “печной подряд”. Отец включил сына в артель на правах подмастерья, поручив надзирать за ним мастеру Василию, который (как вспоминалось Гнусину на старости лет) “колотил за неисправность, бранил меня всякими словами, а жаловаться отцу я не смел”. Отец сам не раз кричал Василию:

– Чего ты с ним цацкаешься? Лупи его!..

Ребенку было трудно месить сырую глину, таскать кирпичи по этажам, но отец жалости к нему не ведал. Правда, мать вступилась было за свое чадо: мол, зачем ему дело печное, ежели Гнусины уже записаны в книгах купеческой гильдии?

– Торговое дело, – отвечал отец, – как посуда из глины, кокнуть можно, а мастерство – посуда золотая, налюбуйся...

Скоро отец велел сыну “в науку” ломать печи в старых домах. Мальчик ударился в рев, но тут же получил от мастера Василия хорошую взбучку:

– Делай, что указано! И весь разговор...

Потом-то отрок понял, что ломка старых печей – такая наука, без которой печника не получится. Внутри голландских печей открылся целый мир, доселе неизвестный. Там переплетались такие сложные лабиринты, каким позавидовал бы и сам Минотавр. Иногда обороты дымоходов были столь интересны, словно он попал в волшебный замок.

– А чему дивишься? – сказал отец. – В хорошей печке, как в часах швейцарских, каждая штучка от соседней зависит...

Россия согревалась от печей различных: были голландские, помнившие еще Петра I, связевские – наследие графа Аракчеева, утермарковские, аммосовские, калориферы инженера Собольщикова, чисто русские, наконец, просто печки – без названия, но в каждой из них жила душа мастера, таились его фантазия, норы, талант, ошибки и промахи... Заметив, что в сыне проснулся профессиональный интерес, отец сказал:

– Теперь сам сложи печку, какую хошь, но токо обороты дымовые без меня не строй... Боюсь, не справишься!

Отец удивился, когда сын, сложив печь, устроил ее обороты сам, но каким-то необычным способом, новым.

– Откуда ты это взял? – спросил он.

Митя сказал, что печку сломать и дурак может.

– Но я же не только ломал – я еще и думал, ломая.

Артель Емельяна Гнусина держала подряды, обслуживая печное хозяйство Кремля, она ведала сложным отоплением московских театров, печи Гнусиных обогревали гостиницы и постоянные дворы, было много частных заказов. Наладка дымоходов всегда нарушает замыслы архитектора, конфликты зодчего с печниками неизбежны, и потому Митеньке с детства довелось общаться с архитекторами. Это был Федор Рихтер, ближайший приятель живописца А. А. Иванова, создавшего бессмертное полотно “Явление Христа народу”; это был Константин Андреевич Тон, строитель Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты. От них Д. Е. Гнусин получил первые зачатки культуры, они привили ему золотое правило: учиться, учиться и учиться...

Отец сделал его мастером, главою артели. В возрасте тринадцати лет мальчик стал для всех Дмитрием Емельянычем. Хотя в семье Гнусиных нужды и не знали, но тятенька был скуповат, а на голландскую печь в своем доме он даже злился:

– Во прорва! Пятнадцать копеек в день прожирает... Неделю прогреет – отдай ей рупь. Дорога!

Митенька шутя соорудил персональную печку, “которая хорошо нагревала комнату и вполне заменяла нам голландскую печь, которую мы совсем перестали топить”. Это случилось в 1845 году, а вскоре отец заставил сына жениться. Дед, осевший в деревне на Волге, прожил мафусаиловы веки, но сын его, Емельян Гнусин, умер еще молодым осенью 1848 года...

Дмитрий Емельянович стал хозяином артели! На богатых поминках он нарочно подсел к архитекторам Тону и Рихтеру, ознакомил их с чертежами своей переносной печурки:

– В день она сжигает всего на полторы копейки. Сами понимаете, сколь выгодна такая печурка для бедного человека.

Тон советовал послать чертеж в “Департамент мануфактур и торговли” (был тогда такой), дабы получить патент на изобретение, а Рихтер разругал чертеж на чем свет стоит:

– Эх, Митька! Изобретать печки умеешь, а чертить не сподобился. Давай сюда шпаргалку свою. Черт с тобой, не поленюсь, вечер угроблю – сам чертеж сделаю...

Близилось окончание работ по созданию Большого Кремлевского дворца, который уже начали протапливать. Весною 1849 года ожидали приезда в Москву императора Николая I, и архитектор Тон, конечно же, волновался:

– Слушай, Митька! За голову царя, больную от угара, и мне голову намылят. Да и тебе на орехи достанется...

Печи и дымоходы в Кремле налаживал еще покойный батюшка, а сын был уверен в качестве отцовской работы:

– Все будет в ажуре, Константин Андреич. Но за вентиляцию не ручаюсь, если из кухонь по всем палатам чад разойдется.

Новый дворец уже осваивали полсотни поваров и легион челяди, наехавшие из Петербурга. К счастью, они оказались ребятами покладистыми, старались не нарушать режима топки гигантских кухонных очагов. Однако чад от приготовления пищи все-таки поднялся по клеткам лестниц, заполняя парадные комнаты, и тогда барон Лев Боде, будучи президентом дворцовой конторы, сказал Гнусину, что он его... повесит!

– Помилуйте, – отвечал мастер, – мой батюшка язык обмолол, просил, чтобы вытяжные трубы сделали. А теперь вы его и вешайте! Он на Ваганьковском от трудов праведных отдыхает.

Беды начались, когда нагрязнул сам император с такой свитой, что кухни дворца работали с утра до ночи, не в силах прокормить всю эту ораву камергеров, шталмейстеров, статс-дам и фрейлин. Гнусин наладил вентиляцию, чтобы устранить чад, но он ничего не мог поделаться с артелью истопников на кухнях.

– Как хошь! – отвечали они. – А с нас тоже требуют. На каждую плиту таперича в один день по сажени дров вылетает.

В один из дней жене Дмитрия Емельяновича срочно понадобились кружева и ленты, и он взялся сопровождать ее по лавкам торговых рядов. Неожиданно с улицы донесло перезвоны пожарных колесниц, в публике заговорили:

– Кремль загорелся...

Гнусин проник в Кремль через Никольские ворота, уверенный, что печи – гнусинские! – пожара не вызовут. По работе пожарных он точно определил, что огонь возник в трубах, упрятанных в стенах здания. Во Владимирском зале он застал Тона и Рихтера, здесь же метался и растерянный барон Боде.

– А-а, вот и ты! Так что теперь делать?

– Стену ломать, – отвечал Гнусин барону...

Старик Тон первым взялся за лом, набежали рабочие, огонь был залит водою, и тут явился император. Боде, чтобы оправдаться, стал орать на Гнусина... Николай I оказался добрее.

– Оставьте печника в покое, – сказал он.

Тон с Рихтером были рады, что так обошлось. Но предупредили Гнусина, чтоб ночевал в Кремле, на всякий случай советовали взять из чертежной мастерской планы дымоходов. На другой день загорелся второй Кремлевский дворец – Малый, и теперь император испугался не на шутку... Гнусину он сказал:

– Ты что! Спалить меня вознамерился?

Дмитрий Емельянович с чертежами в руках доказывал императору, что виноваты повара, которые в кухонных плитах разводят пламя, как в доменных печах:

– Тут не только щи – тут и сталь варить можно...

Вскоре Гнусин получил патент на свои переносные печи, ставшие модной новинкой. Одну из таких печей он экспонировал на промышленной выставке. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам начал расспрашивать, как она делается и как топится...

– Я, – вспоминал Гнусин, – ничего не подозревая, дал простодушно все указания и даже объяснил способы применения герметических дверц.

Слава о гнусинских печах дошла до Петербурга, многие церкви, гимназии, приюты и лазареты пожелали иметь дешевое отопление.

Дмитрий Емельянович частенько ездил в столицу и зимою, сидя в нетопленном вагоне, коченел от холода, хотя был в шубе и в валенках. Однажды ему встретился на вокзале инженер-генерал Крафт, бывший в ту пору начальником Николаевской железной дороги.

– Николай Осипыч, – обратился к нему Гнусин, – а как цари до Москвы катаются? Неужто, как и мы, трясутся от холода?

Крафт провел его в царский вагон, по углам которого были расставлены большие медные баки, и пояснил, что на станциях в них заливают крутой кипяток, – возле баков его величество с их высочествами по очереди греются. Тут печник задумался.

– А... за границей? – спросил. – Тоже баки?

– Да нет. Ничего не придумали...

Вернувшись в Москву, мастер узнал от жены, что в его отсутствие мастерскую усердно посещал архитектор Левестам.

– Такой настырный, – говорила жена. – Что, как да почему? Все печами твоими интересовался. Даже срисовывал...

“Я не придал этому никакого значения, – вспоминал Гнусин – тем более такое любопытство в архитекторе считал вполне понятным”. Но жена скоро известила мужа, что стоит ему выйти за порог дома, как является Левестам.

– Смотри мне! Ежели шашни какие примечу, так я тебя...

– Да Христос с тобою! – пала перед ним жена на колени. – Да я рази Митеньку сваю на этого Матвея променяю?..

Дмитрий Емельянович уже не находил покоя: как наполнить теплом промерзлые поезда, чтобы пассажиры чувствовали себя в вагонах столь же уютно, как и в жилых комнатах? Рассуждал: “От Москвы до Питера – куда ни шло, зубами постучать можно. А ежели рельсы в Сибирь протянут, тогда как? До Иркутска всякая живая душа сосулькой станет...”

Изобретя особые печи для пассажирских вагонов, он сам мотался по рельсам туда-сюда, чтобы обучить проводников ими пользоваться. Скоро отопление вагонов достигло такого совершенства, что перед отходом поезда пассажиров спрашивали:

– Дамы и господа, скажите, какую температуру желаете иметь в вагоне, и ваше желание будет исполнено...

На станции Бологое Гнусин случайно подслушал разговор двух купцов о том, что печки в вагонах – не к добру:

– Это надо ж до такого дойти! Ведь чугунок-то не телега, с нее не соскочишь. Случись пожар на полном ходу, так кудыть прыгать-то с багажами своими?

– Не иначе, Фрол Акимыч, это немцы придумали, чтобы народ православный извести вконец... Сожгут нас на полной скорости и ведь, заметь, денег за билет никогда не отдадут.

Вернувшись в Москву, Гнусин жену ревновал:

– Сознавайся, был Левестам без меня или не был?..

М. К. Левестам скоро обнаружился как автор “хозяйственно-экономических печей”, в которых Гнусин сразу распознал свои же переносные печи; Левестам чуть-чуть их изменил, что-то в них исправил и теперь выдавал за свои... Дмитрий Емельянович поспешил к юристам, но они печника едва выслушали:

– Сравни себя, мужичье, и господина Левестама, который с отличием окончил Академию художеств, а ныне он в Москве принят в лучшем обществе...

Левестам наладил массовый выпуск печей, поставив дело на широкую ногу, доходы из кошелька Гнусина быстро переместились в элегантное портмоне дипломированного плагиа-

тора. Скоро ударила судьба-злодейка и с другой стороны: Николаевская железная дорога отказала Гнусину в подряде на установку его печей в вагонах 2-го и 3-го класса. Дмитрий Емельянович обратился с жалобой в Московский сенат:

– Если мои печи плохи, так почему ж их по-прежнему ставят в вагонах 1-го класса, где важные персоны катаются?

Министерство путей сообщения поинтересовалось:

– Уж не собираетесь ли вы судиться с нами?

На это Дмитрий Емельянович не решился...

“Таким образом, – вспоминал Гнусин, – я очутился в плохом положении. Я пришел в отчаяние и спрашивал себя: неужели голова моя стала пуста, что ничего нового не придумает?”

Он часто приказывал себе:

– Думай, Емельяныч, думай!

Он искал ответы на вопросы, казалось бы, несовместимые: почему в доме цветы завяли и почему в вагонах при его отоплении полы оставались холодными?

“При этом у меня в голове явилось новое изобретение, и я сразу придумал свои паропневматические печи”. Он вернулся домой, а там – разряженная жена, праздничные гости.

Была как раз масленица, и его ждали, чтобы ехать на тройках с бубенцами под Новинское.

– О, хозяин пришел! Коня заждались... Едем, едем! – говорили ему.

Дмитрий Емельянович сказал тогда жене:

– Езжай сама, а меня не тронь... Я думаю!

В квартире была ненормальная сухость воздуха, отчего цветы стояли почти без листьев.

Гнусин вызвал плотников:

– Выламывай вот эту половицу... эту... и вон ту!

Вернулась жена с гулянья, а дома беспорядок:

– Ты обо мне-то хоть подумал ли? Хоть меня пожалел бы.

– Молчи! Что ты в печах понимать можешь?..

Новое отопление заработало: цветы ожили. “Я довел теплоту воздуха до 36° по Цельсию и увидел, что с увеличением температуры соразмерно увеличивается и влажность воздуха”. Первый заказ на свои новые печи он получил от московского губернатора П. А. Пучкова, человека образованного.

– Я так мыслю, – сказал ему Гнусин, – что казенное учреждение за один сезон расходует на отопление целый лес, а частному дому потребна роща. О лесе никто не думает, благо Сибирь еще топором не тронута, а когда хватятся, будут и щепкам радоваться. Вот и желаю я, чтобы там, где ныне топят сразу десять печей, осталась одна печь, греющая по-прежнему...

– Возможно ли соблюсти такую экономию?

– Сужу по опытам, – отвечал Гнусин. – У меня в доме легко дышится, а цветы распускаются, как в саду...

Его пригласили в городскую думу Москвы:

– Хамовнические казармы за прошлую зиму спалили сто десять сажен дров. Днем и ночью там пылают семнадцать печей и три камина. Вот и скажите, что можно сделать для экономии?

Дмитрий Емельянович приготовил расчеты:

– Поставлю шесть своих печей, и вместо ста десяти сажен дров будет потребно всего пятнадцать сажен... Не больше!

Хамовнические казармы получили его систему отопления. Все остались довольны – все, кроме смотрителя зданий. При мизерном жалованье он жил как Бог, беспощадно воруя казенные дрова и продавая их на сторону. Легко воровать, если дрова завозили обозами, а Гнусин навел такую экономию, что стащи хоть полено – сразу заметят... Смотритель стал думать – как

бы вернуть казармы в состояние былых времен? Недолго думая, весь мусор, какой был в здании, стал ежедневно сгребать в обороты кривых дымоходов. Хамовнические казармы наполнились угаром.

Дмитрий Емельянович сразу догадался, в чем тут дело:

– Прошу созвать комиссию от городской думы...

Он велел трубочистам прочистить обороты, и к ногам свидетелей нагребли кучу всякого смрадного хлама, которую венчал старый сапог и большаядохлая крыса.

– Солдат, – заметил Гнусин, – не станет сапог в обороты пихать, а крыса – тварь умнейшая, она, куда ей не надо, сама не ползет. Прошу составить протокол о зловредности умысла...

Гнусина завалили заказами на его паропневматические печи. Слава о них разошлась по стране после того, как Школе синодальных певчих 20 старых печей Гнусин заменил пятью новыми, вместо 120 сажень дров здание прогревали лишь 20 саженьями.

За это мастер получил триста рублей премии.

Он отдал эти деньги жене:

– Это тебе не на кружева да ленточки. Лучше найми учителя, чтобы детишек французскому языку обучил...

Пришлось снова поехать по городам, где имелись юнкерские училища, детские приюты и богадельни (эти небогатые заведения больше других нуждались в дешевом отоплении). За его работой пристально наблюдал Медицинский департамент МВД – как бы не было вреда здоровью, но людям дышалось легко. Появились новые печи Гнусина – паровентиляционные, о которых мастер писал, что они “были несравненно лучше прежних в гигиеническом отношении, представляя еще большую экономию топлива”.

Между тем дети подрастали, забот и расходов прибавилось, и однажды, глянув на стареющую жену, Дмитрий Емельянович впервые подумал, что все спешил куда-то, пора и оглядеться... Вестимо, закат жизни уже виден, он неизбежен. Вспомнился старый дед, лупивший его вожжами, вспомнился и мастер Василий да еще большие руки отца в гробу, розовые от сырой глины.

Академик архитектуры К. А. Тон был уже очень стар, как и дед Гнусина когда-то. В 1873 году газета “Голос” всенародно оповестила о заслугах перед отечеством печных дел мастера. Статья была подкреплена словами академика Тона:

“Один только Воспитательный дом в Петербурге за десять лет топки печами Гнусина получил экономию в сто сорок тысяч рублей. При нашей бедности это успех, и успех значительный. При этом мы ведь еще не учитываем, сколько русских лесов сохранили мы в целостности и сохранности благодаря этой экономии печей...”

Жена тоже прочла статью в “Голосе”.

– Сто сорок тыщ, – сказала она, – а тебе-то сколь дадено? Другие-то, гляди, как – из плотки свое вырвут, а ты...

– Молчи! – сказал Дмитрий Емельянович. – Человеку не бывать счастливым, ежели все деньги, какие есть, хочет заработать...

Время не стояло на месте, в столичных городах появилось водяное отопление, снова возникла газетная полемика, но Дмитрий Емельянович в нее не вмешивался, чтобы сторонники водяного отопления не заподозрили в его печах конкуренции.

– Но ведь дорого! – говорил он. – Не спорю, вода течет по трубам горячая, в комнатах тепло, но... ой, как дорого!

Жена как-то встретила мужа в слезах:

– Поговори с нашим Митенькой, не хочет в гимназию ходить. Там его барчуки печником зовут.

– Пушай терпит, – ответил Дмитрий Емельянович. – Я ведь тоже натерпелся. Всякого...

В 1886 году русская печать с прискорбием отметила, что “наш самородок-изобретатель в конце концов не нажил ничего – это совершеннейший бедняк... Все, что успел сделать Дмитрий Емельянович, это позаботиться об отличном образовании своих детей”.

Правда, дети не пошли по стопам отца. Известно, что старший сын печника Дмитрий Дмитриевич Гнусин стал одним из видных специалистов по созданию гаванских и портовых сооружений для нужд флота российского...

Теперь хотелось бы помечтать. Наверное, отказавшись от печек, мы еще не отыскали достойную им замену. Сами архитекторы признают непривлекательность батарей парового отопления, а медицина давно обеспокоена болезнями дыхательных путей. Не спору: трудно представить современный город с печным отоплением. Рядом с мусоропроводами пролегли бы дымоходные трубы, возникла бы неразрешимая проблема размещения дровяных сараев. Пассажирам в городском транспорте пришлось бы посторониться, если с передней площадки вошел бы измазанный сажей допотопный трубочист...

Все это так! Но мне кажется, что хорошо было бы изобрести что-то новое в отоплении наших жилищ, чтобы снова обрести первобытную радость при виде пылающего огня.

Это пока лишь мечты.

Однако будем внимательнее к мечтам фантазеров.

Может, они еще что-либо придумают, как умел это придумывать наш русский самородок – Дмитрий Емельянович Гнусин.

В трауре по живому мужу

Недавно мне попались материалы для биографии Карла Брюллова, снова – в который раз! – я проглядел петит примечаний, объяснявших главную причину, почему великий живописец расстался с Эмилией Тимм после первой же ночи. Раньше об этом долго и стыдливо умалчивали, но и теперь, как видите, о страшной драме великого маэстро сообщают лишь в комментариях, которые, как правило, редко читают. Я не стану говорить о причинах развода Брюллова (пусть читатель приучается САМ искать и находить), но история разрушения семьи Брюллова невольно заставила меня вспомнить, что был в Петербурге старый дворянский дом, в котором случилось нечто похожее...

Речь пойдет о семье Энгельгардтов.

Назвав эту фамилию, я невольно вспомнил и первую фразу, которой Лев Толстой открывает трагедию Анны Карениной: “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему...” Пусть будет так!

Без генеалогии истории быть не может.

Генеалогическая канва Энгельгардтов соткана очень сложно, восходя к началу XV века, когда в Ливонии проживал рыцарь Юнгер, внук которого был увезен в Россию, где и сделался родоначальником смоленских дворян. Лишь в XI родословном колене я нашел человека, которого искал: “Федор Валентинович, титулярный советник, р. 21 сентября 1802–1876”. Найти этого Энгельгардта трудно, ибо он был погребен... при жизни.

В том же родословии сказано, что с июня 1831 года ф. В. Энгельгардт был женат на Анне Романовне Херасковой, и она являлась “последней в своем роде”. Это сразустораживает, ибо последний в роде законно обретал все “выморочные богатства” своих родичей. Заодно я сверился с генеалогией Херасковой, установив, что знаменитому поэту М. М. Хераскову молодая жена Энгельгардта доводилась внучатой племянницей.

Впрочем, нет оснований подозревать ее мужа в корыстолюбии, напротив, брак его с Херасковой был заключен по страстной и обоюдной любви – приданое тут не играло никакой роли. Но Энгельгардту завидовали, ибо Анна Романовна с юных лет была представительна и хороша – даже очень хороша!

Первый ребенок родился мертвым. Вторым стала дочь Вера, которой суждено было в будущем стать наперсницей матери, затем семья Энгельгардтов отпраздновала рождение трех дочерей подряд – Ани, Полины и Санечки. После очень долгого перерыва, уже в возрасте почтенной матроны, Анна Романовна в 1846 году родила единственного сына, которого нарекли Валентином. Миновала быстрая череда лет, Верочка уже готовилась объявить себя невестой графа Девиера, остальные девочки подрастали, сын Валя был еще ребенком, и тут...

Тут случилось нечто страшное, почти первобытное – такое, о чем люди говорят только шепотом, да и то лишь в узком кругу ближайших друзей, а “сор из избы” не выносят. Читатель догадался, о чем я говорю сейчас, ибо классическая тема “Лот с дочерьми” слишком хорошо известна всем нам по многим шедеврам мировой живописи. Но то, что было возможно в библейском Содоме, о том даже не мыслилось в Санкт-Петербурге.

Энгельгардт развратил свою вторую дочь Анну, которой к тому времени исполнилось 14 лет. Анна Романовна, безумно любившая мужа, была потрясена до такой степени, что со стороны казалось – она близка к помешательству.

– За что наказал меня Бог, сделав женою Лота, и даже нельзя оглянуться назад, чтобы не превратиться в соляной столп!

Думаю, историческая справка не помешает. Если тема “снохачества” в крестьянском быту широко известна, ибо малолетних сыновей спешили женить на взрослых девицах, чтобы

иметь лишнюю работницу в крестьянском хозяйстве, то в среде русской интеллигенции кровосмесительство оставалось почти неизвестно. А. И. Соколова, писавшая под псевдонимом “Синее Домино” (она же мать знаменитого писателя Власия Дорошевича), вспоминала, что Анна Романовна Энгельгардт была сражена “как громом. Она подробно расспросила обо всем дочь и пришла к убеждению, что та действовала почти бессознательно, под давлением враждебной нравственной силы...”

– Ну, вот, – жестко объявила мать дочери, – отныне у меня нет дочери с именем “Анна”. Видеть тебя я не должна, а ты постарайся не попадаться мне на глаза...

Энгельгардт, не дожидаясь подобных слов, сам догадался бежать из своего дома, найдя убежище во дворце своей кузины – светлейшей княгини Салтыковой, где не смел даже выйти к обеденному столу, скрываясь в чулане, чтобы никто его никогда не видел.

– Не стало дочери, нет и мужа, – объявила Анна Романовна.

С этого дня она облачилась в траур – как вдова.

Но женщина крутая, она решила не щадить репутацию мужа. Анна Романовна сама явилась в злополучное III Отделение жандармов, где и ошарашила Леонтия Дубельта откровенным рассказом.

Дубельт за время службы буквально копался в “грязи” каждый день, но такой мерзости даже он не вынес.

– Бывший офицер лейб-гвардии... ныне титулярный советник, – бормотал он. – Разве можно поверить в такое? Но события в вашем доме столь необычные, что я, извините, вынужден сегодня же доложить о нем его императорскому величеству.

Царствование Николая I близилось к завершению...

Линия лба и носа императора составляла по-прежнему классическую прямую, но выпирающий живот царя, безжалостно распирая корсет и растягивая помочи, в общую линию уже не вписывался.

Он грозно сверкнул глазами-буркалами на Дубельта:

– А куда она раньше смотрела! Мне жаль ее... Разорвать бы этого титулярного собаками, – сказал Николай I Дубельту, – но... придется судить мерзавца. Кто у тебя в Отделении по всяким семейным делам и делишкам?

– Полковник Станкевич.

– Вот пусть и разберется в этой пакости...

Вскоре же императора навестила его любимая дочь Мария, которая обладала таким же “римским профилем”.

– Если мадам Энгельгардт, – начала дочь, – так низко пала, что не стыдится выносить свой позор на обсуждение жандармов, то моя подруга, светлейшая княгиня Салтыкова, слезно умоляет не предавать дело ее кузена всеобщей огласке...

В битву за честь Энгельгардта вступала “тяжелая” (то бишь – титулованная) артиллерия. Да, опасения Салтыковой и всей знати, бывшей в родстве с Энгельгардтом, эти опасения легко объяснимы, читатель. Русский суд за грехи Лота с дочерьми карал безжалостно. Достаточно глянуть на статью № 1593 российского “Уложения о наказаниях”, чтобы понять – Энгельгардта ожидала жестокая кара. Вникните: виновный в прелюбодеянии с дочерью подлежал одиночному заключению обязательно в тюрьмах Восточной Сибири сроком на шесть лет и восемь месяцев, после чего должен был ПОЖИЗНЕННО иметь пребывание в отдаленном монастыре “для употребления на самых тяжких работах...”.

Энгельгардта судили в Петербурге при закрытых дверях, а полковник Станкевич, проводивший следствие по его делу, был вынужден пожить в имении Анны Романовны, которая со всем семейством укрылась от общества в глухомани провинции.

Не знаю, зачем ей это понадобилось, но свои показания она давала в комнате, которую заранее подготовила к этому мрачному судилищу, завесив окна непроницаемыми шторами, обив стены черным сукном. Сама во всем черном, она давала показания при свечах – это была какая-то торжественно-инквизиторская обстановка. Станкевич, жандарм дошлый, не придавал значения этому траурному интерьеру, со знанием дела выведывая нужное то от матери, то от дочери ее, которая от семьи была изолирована. Мать не могла ее видеть, и потому юная Анна Федоровна проживала на отшибе усадьбы – в баньке, к ней была приставлена гувернантка, которая и приносила ей с общего стола еду и свечи для чтения...

Но, как это и бывает иногда в отношениях между следователем и свидетелем, полковник Станкевич и Анна Романовна даже подружились, и это немудрено, ибо жандармы Дубельта дураками никогда не были, а хозяйка дома славилась в обществе образованностью и большой начитанностью.

Анна Романовна вернулась в столицу, когда судьба ее мужа была решена, она же, мать, решила судьбу своей дочери, определив для ее прожития крохотную каморку в своем доме, дочь не имела права разговаривать с братом и сестрами, не должна была появляться перед матерью, и кормили ее отдельно. Однако приговор, вынесенный ее отцу, хотя и был очень суров, но все же не столь жесток, как это предписывалось “Уложением о наказаниях”.

Станкевич, ставший за эти дни “другом дома”, навестил Анну Романовну, чтобы сообщить ей о приговоре, который был согласован с самим императором.

– Можете быть спокойны, – утешил он женщину, – и траурных одежд снимать не надо, ибо вы действительно ОВДОВЕЛИ.

– Надеюсь, его казнили? – спросила Анна Романовна.

– Нет. С ним поступили ХУЖЕ. Вашего бывшего просто вычеркнули из числа жителей, населяющих нашу могучую империю, паспорт у него навечно изъят, он лишен всяческих прав, а вскоре будет объявлено о его смерти официально.

– Мне, вдове, нужен официальный документ о моем вдовстве.

– Не волнуйтесь. Третье Отделение на все способно...

Станкевич не шутил. Из канцелярии Дворянского собрания Анне Романовне доставили документы, узаконивающие ее вдове положение, при этом она получила на руки и свидетельство о погребении титулярного советника Федора Энгельгардта в какой-то захудалой деревеньке под Вологдой. Таким образом, Энгельгардт был “погребен” еще при жизни.

– Кстати, а где он сейчас?

– Легко догадаться, – отвечал Станкевич. – Конечно же, он нашел приют под крышей своей кухни и сидит в своем чулане тихо, словно мышка, боясь высунуться на улицу... Обижаться на свою судьбу он не может, поскольку в противном случае будет сразу осужден по закону, и считать тогда ему столбы на Сибирском тракте...

– Вы не учитываете крайностей людской психологии, – сказала Анна Романовна. – Он способен быть мертвым, но разве не способен объявиться живым? Что тогда, милый полковник?

– Это невозможно, – утешал ее Станкевич, – я-то точно уж знаю, что в России мертвецы никогда не оживают...

Нет, читатель, мать не изгнала повинную дочь, но, проживая с нею в одном доме, она никогда не видела ее (а дочь, запуганная, боялась показаться матери). Все это время, очень тяжелое для семьи, Анну Романовну поддерживала старшая дочь – графиня Вера Девиер, красивая, богатая и счастливая в замужестве, она стала для матери лучшей сердечной подругой. Единственное, чего не позволяла ей мать, так это взывать о жалости к сестре.

– Побывавшей в сарданапаловых объятиях своего родного отца, ей не место в моем сердце. Хотя, чувствую, что не место ей и под одной крышей со мной. Господи, хоть бы нашелся какой-либо захудалый женишок, чтобы сделал ей предложение...

Тут я опять вспомнил слова Толстого о семьях счастливых и несчастных и вдруг горько подумалось, что – да, отрицать не станем! – есть такие семьи, судьбы которых отмечены каким-то роком. Все есть для счастья, но счастья для них не будет...

Официально объявленная вдовой, не снимающая траурных одежд, пошитых у лучшего портного столицы, Анна Романовна постепенно оживилась, стала появляться в обществе и в театрах... Она зорко следила за новинками литературы, проявляя особую жадность до тех книг, чтение которых было наложено цензурное вето.

По натуре общительная, с умом рассуждающая, женщина была в давней дружбе с Маврикием Осиповичем Вольфом, известным тогда издателем, а книжный магазин Вольфа имел добрую славу среди столичных жителей. Книжная торговля в те времена была никак не сравнима с нынешней: Вольф был крайне заинтересован в каждом покупателе, оказывая им такие услуги, каких нельзя ожидать ныне от тех девиц, что откровенно зевают за прилавками наших «книготорговых точек».

В один из дней вдова подкатила на коляске к магазину Вольфа в Гостином Дворе, прошла в лавку, где перед ней, знатной дамой, раскланивались приказчики, она уверенно расположилась в кресле и стала перебирать книжные новинки. Если в задних комнатах конторы Вольфа писателей и читателей спрашивали, чего им «напузырить» – водки или пива, то здесь, в уютном преддверии книжного рая, ей предложили:

- Прикажете кофе или чашку шоколада?
- Я слишком русская, а потому для меня – ч а ю...

Тут над ней, утопавшей в кресле, склонился, словно опытный змий-искуситель, сам хозяин – Маврикий Осипович:

- Мадам, я вас знаю, вы меня тоже не первый год знаете... только для вас... но с условием – на одну ночь. Уступаю заранее – на две ночи.
- За деньги?
- Что вы! Мы же старые друзья. Прочтете – послезавтра вернете.
- А что это? – шепотом спросила женщина.
- О-о-о, – закатил глаза Вольф. – Это... – он закачал головой.

Кажется, это был маркиз Астольф де Кюстин, сочинивший скандальную (и запрещенную в России) книгу, разоблачавшую вредный характер правления Николая I. Правда, что поэт Жуковский назвал автора «собакой», но...

- Как я вам благодарна, – сказала Анна Романовна.
- Только не подведите меня. Две ночи – не больше.
- Маврикий Осипович, дорогой мой, разве я вас когда-нибудь подводила? В моей порядочности можете не сомневаться...

Я назвал книгу маркиза Кюстина, поскольку именно в те годы на нее было усиленное гонение, хотя «Синее Домино» писала, что Анна Романовна получила от Вольфа «один из интересных и строго воспрещенных в России романов». Вряд ли это был только роман. Может, и не Кюстин, но только не роман...

Именно в этот вечер Энгельгардтов навестил полковник Станкевич. Жандарм глаз не мог отвести от этого «романа»:

- Откуда у вас такая редкость? – полюбопытствовал он.

К тому времени Анна Романовна в дружбе Станкевича не сомневалась. Мало того, их дом навещал и сын полковника – Сережа Станкевич, еще подросток-кадет, игравший с ее дочерьми. Поэтому Анна Романовна разоткровенничалась:

- От вас не скрою, книга от Маврикия Осипыча. Он со мной всегда так любезен, так мил...

Станкевич взмолился:

– Дайте и мне прочитать, так много слухов об этой книге.

– С условием – на одну лишь ночь. Завтра же утром я обещала вернуть ее в лавку Вольфа...

Прошла ночь, наступило утро, но был еще слишком ранний час для пробуждения женщины, привыкшей понежиться в постели. Но ее бесцеремонно растолкала горничная:

– Барыня, вставайте-ка... пришли к нам.

– Кто там... в такую рань?

В прихожей маялся старший приказчик Вольфа, который, чуть не стуча от страха зубами, сообщил, что рано-рано в магазин нагрянули жандармы во главе с полковником Станкевичем:

– Всю лавку перевернули, учинили обыск. Какую крамолу заграничную нашли – сразу конфисковали, а магазин опечатали.

– Станкевич?! А что Маврикий Осипыч?

– Так он плачет. Сбегай, говорит мне, до Анны Романовны и спроси, каким образом книга, которую я ей давал, вдруг оказалась в руках этого самого полковника...

– Где сейчас Станкевич?

– В лавке, роется в книгах.

– Не уходи. Сейчас вместе поедим...

Вот этого Станкевич никак не ожидал, и, увидев в дверях магазина разъяренную Анну Романовну, он сразу сделался отвратительно жалким: так юлил глазами по сторонам, так беспомощно оправдывался перед нею... Анна Романовна буквально уничтожила его гневной речью, и, вконец опозоренный ею, он выслушал слова, прозвучавшие вроде приказа:

– Если сейчас же магазин Вольфа не будет распечатан и вы, полковник, не уберетесь отсюда к чертовой матери, я, поверьте, добьюсь аудиенции у нашего государя и скажу ему, каких бесчестных людей он содержит на своей службе...

Станкевич достаточно знал характер этой мадам, которая слов на ветер не бросала. Он покорно извинился перед Вольфом, велел жандармам снять печати с входных дверей магазина и прижал длань в белой перчатке к тому месту груди, где по всем правилам анатомии должно бы размещаться чуткое сердце.

– Не имейте на меня зла... служба!

– Не разжалобите, – отвечала она полковнику. – И, дабы впредь между нами все стало ясно, я прошу, чтобы отныне ваша нога никогда не переступала порог моего дома... Все!

Да, она сделала все, что могла (и даже больше), чтобы из-за ее доверчивости не пострадали другие люди. Полковник, правда, в доме Энгельгардтов никогда больше не появлялся, а вскоре был спроважен в отставку на генеральскую пенсию. Но однажды Анна Романовна услышала слишком оживленный смех дочерей, веселые голоса молодежи.

– Вера, чего они там бесятся? Одни?

– Да нет, – пояснила дочь, – там Сережа Станкевич пришел, вот и затеяли игру в фанты...

Анна Романовна долго озидала свое отражение в зеркале...

– Сын за грехи отца не в ответе. А Сережа хороший мальчик. Фанты – так фанты. Пусть играют, я не против...

Младшие дочери быстро подрастали, обещая вскоре сделаться завидными невестами, а в жалкой каморке никем невидимая, проклятая и презираемая, не жила, а мучилась в страшном одиночестве вторая дочь Анны Романовны, ни в чем никем не прощенная...

– Мама, – как-то намекнула графиня Девиер, – неужели тебе совсем не жалко и без того несчастную Анечку?

– Нет, – жестко ответила мать, – совсем не жалко...

Милая чистенькая горничная вошла к ней со смехом:

– Какой-то странный господинчик там... просится.

– Почему “странный”? – спросила Анна Романовна.

– Да вроде пыльным мешком из-за угла пришибленный. Еще не старый, а лысина – во! – словно дыра от микитры, хоть на плетень вешай... Явный неудачник!

– Мы все, дорогая, неудачники. Проси его...

Явился жалкий, пугливый человек в затерханном мундирчике чиновника, назвался Егором Андреевичем Геннеманом.

– Сын благородного кассира из Смольного института благородных девиц, состоящий экономом в том же заведении. Честь имею!

– В этом не сомневаюсь, – с иронией отвечала Анна Романовна. – Но... что привело вас ко мне, господин Геннеман?

Геннеман с откровенностью, какой от него, казалось бы, и нельзя было ожидать, цинично заявил, что ему известно о той грязной истории, что случилась в доме благородных дворян, и, зная о положении опозоренной отцом Анны Федоровны, он просит у мадам Энгельгардт дочерней доли приданого, а заодно уж руки и сердца несчастной дочери.

Ну, что ж! В данном случае даже цинизм уместен.

– В руке дочери не отказываю, а что касается сердца, так это уже ваша забота, милейший, – сухо ответствовала Анна Романовна. – Я этой дочерью не дорожу, пусть она станет для вас кассиршей или экономкой, мне безразлично. Впрочем, сударь, согласия на брак с вами добивайтесь у нее сами...

Как и следовало ожидать, отказа не последовало, ибо Анна Федоровна была рада вырваться из домашней неволи и навсегда покинула родительский дом, ставший для нее темницей. Анна Романовна, избавившись от ненавистной дочери, не скрывала удовлетворения и выразилась с простонародной ясностью:

– Девка с возу – кобыле легче. Бог с ней...

Только успела она избавиться от второй дочери, как загорелось любовью сердце третьей – Полины. Девушка плакала, капризно топала туфелькой, крича матери:

– Любила и буду любить назло всем. Люблю, люблю, люблю!

Для матери это было новым потрясением. Сережа Станкевич из милого мальчика-кадета превратился в офицера, он служил в полку “желтых кирасир”, юноша был мил, умен, очарователен. Молодые давно объяснились в любви, последнее слово оставалось за матерью, но Анна Романовна и слышать ничего не хотела об их браке – подлость Станкевича-старшего не была ею забыта.

– Любовь... Этого мне только и не хватало! Отцу отказано от моего дома, так теперь его сыночек прозвонил сердце моей Поленьке своими злосчастными шпорами...

Потребовалось вмешательство графини Девиер.

– Мама, – заступалась за сестру Вера, уже достаточно умудренная жизнью, – ну, ладно, пусть Станкевич оказался мерзавцем, но Сережа-то – чистый и благородный юноша. Стоит ли упорствовать, разрушая союз любящих сердец? Подумай сама. Пожалей их...

Старшей дочери Анна Романовна доверяла всегда.

– Но я ставлю жесткое условие, – предупредила она. – И пусть молодые об этом знают: отец Сережи не должен присутствовать ни во время обручения, ни, тем более, на свадьбе своего сына с моей ненаглядной Поленькой... Если же он появится, – заключила Анна Романовна, – я сразу же повернусь и уйду, невзирая на то, что скажут обо мне люди... Об этом моем решении пусть Сережа сразу же оповестит своего отца.

Извещенный обо всем Станкевич, уже генерал в отставке, возражать не стал и сознательно уехал из Петербурга на время, нужное для обручения и свадьбы, которую Энгельгардты решили играть в Конюшенной церкви возле Певческого моста.

– Кланяйся от меня Анне Романовне, – наказал генерал сыну, – и передай ей, что мешать никому не стану...

В эти же дни, привычно крадучись, словно вор, в роскошном дворце светлейшей княгини Салтыковой тихо вылез из своего мрачного убежища сам Ф. В. Энгельгардт, объявленный когда-то мертвецом. Этот “живой труп”, таясь даже дневного света, в потемках навестил свою знатную кухню в ее будуаре.

– Какие новости в столице? – осведомился он привычно.

– Разве газет не читаешь? Ведь уже объявлено о помолвке твоей дочери Полины с “желтым кирасиром” Станкевичем.

– Каким Станкевичем?

– Сыном того самого, что допрашивал тебя и глумился над твоей слабостью, того, что вел до суда твое дело, того самого, что превратил тебя в живого покойника...

Если бы он узнал, что Полина выходит замуж за кого-либо другого, ему, отцу, это было бы безразлично, но сейчас он, дико озлобленный на весь мир за годы своего принудительного отшельничества, сразу вспылал лютой ненавистью, узнав, что судьба вторично связывает его имя с именем Станкевича.

– Я отомщу им всем, – решил он...

На следующий день этот “давно погребенный” вдруг вышел на дневной проспект и зашагал, никуда не сворачивая, прямо в Третье отделение, чтобы отомстить всем, всем, всем...

Леонтия Дубельта, вечная ему память, уже не было, наступили новые времена, главным жандармом стал Александр Егорович Тимашев, которому в ту пору было уже не до маркиза де Кюстина, ибо приходилось глушить могучий набат герценовского “Колокола”. Между тем родительская власть почиталась в России по-прежнему нерушимой, и потому Тимашев несколько не удивился, когда перед ним предстал бледный как смерть, изможденный старик, с апломбом заявивший, что он протестует – именно, как отец:

– Случайно я извещился, что моя жена, не испросив моего одобрения, самовольно выдает дочь Полину за корнета Сергея Станкевича, но я, как отец невесты, достаточно осведомленный о порочном семействе Станкевичей, всеми фибрами души протестую против этого брака, который – волею жены! – вершится без моего отцовского благословения...

Тимашев, человек нового времени, ничего не знал о той старой истории, трагичной для семьи Энгельгардтов, и, выслушав визитера, согласно кивнул:

– Воля родителя да будет священна. Хорошо, что вы, сударь, предупредили меня заранее, чтобы разрушить эту свадьбу от самого начала...

Выпроводив старика, Тимашев распорядился, чтобы к нему вызвали отца Станкевича, но ему сообщили, что тот отбыл в деревню, и тогда к главе жандармов пригласили Анну Романовну.

– Мадам, – строго начал он, – как же вы осмелились одобрить брак дочери с этим “желтым” Станкевичем, даже не испросив на то благословения своего супруга, который, опечаленный таким коварством, сидел вот тут, плакал и жаловался...

Женщина весело расхохоталась:

– Впервые слышу, что покойники умеют плакать.

– Простите, мадам, я вас не понял.

– Сейчас поймете... О каком еще муже вы смеете рассуждать, если я давно овдовела. А замогильных протестов не принимаю и вам не советую... Не верите? Но я могу предъявить подлинные документы из Дворянского собрания, в которых указано даже место захоронения моего мужа... Александр Егорович, я что-то не понимаю, с кем вы тут без меня разговаривали?

– Вот теперь... и я не знаю, – согласился Тимашев, сверившись с документами о давней кончине мужа Анны Романовны. – Не имейте на меня сердца... служба у нас, знаете, такая. Кого только не приходится принимать. Даже идиотов и аферистов выслушиваем. Но в другой раз, если ваш “муж” явится с того света, я позабочусь о том, чтобы его спустили с лестницы...

Энгельгардт, пылающий от мщением, не замедлил снова предстать перед Тимашевым, настаивая на запрещении брака дочери, но Тимашев сразу остудил его, облив водой из графина:

– Титулярный советник Энгельгардт, за которого ты себя выдаешь, давно почивает на погосте Вологодской губернии, и ты еще благодари меня, что я не желаю выяснять, кто ты такой на самом деле и ради чего тут шляешься... Вон отсюда! По-хорошему...

Но “мертвец” уже выбрался из своей “могилы”.

В канун венчания к дверям дома Энгельгардтов чья-то злобная рука подкинула грязную анонимку. Кто-то в письме угрожал, что, посмей Анна Романовна явиться в церковь, и ей и всем гостям будет устроен такой скандал, что без вмешательства полиции свадьба не обойдется, и в газетах этот скандал будет обрисован со всеми подробностями... Вера Диевер, чтобы утешить мать, советовала не придавать анонимке серьезного значения. Но тут Анна Романовна расплакалась.

– К сожалению, – поведала она дочери, – это не аноним. Я узнала почерк... это он... твой отец.

Старый лакей, придя с улицы, сообщил, что видел Энгельгардта в толпе любопытных и нищих, которые с утра пораньше собрались возле Конюшенной церкви, чтобы, как это водится, поглазеть на “молодых”. По этой причине мать невесты, не допустившая до свадьбы отца жениха, и сама осталась сидеть дома, никуда не выезжая. Гостей же к вечернему ужину пускали по билетам, чтобы в дом не проникли лишние, чтобы избежать скандала, если явится “загробная тень отца”...

После этого жизнь в доме Энгельгардтов стала невыносимой. “Мертвец с того света” не переставал мучить семью угрозами, он слал проклятия не только своей бывшей жене, но даже детям – он предвещал своему потомству различные беды и несчастья. Что-то, превратно истолкованное, дошло до офицеров полка, в котором служил молодой Сергей Станкевич, – бедному корнету пришлось удалиться в отставку.

Вскоре его нервы не выдержали, и он сошел с ума. Когда его упрятали в дом для умалишенных, жена его, Полина Федоровна, еще совсем молоденькая, при живом муже, как когда-то и ее мать, облачилась в траур.

– Боже праведный, почему мы все такие несчастные?! – восклицала она, а мать ничего не могла ответить дочери...

Но, кажется, и сама Анна Романовна поняла, что благосклонность Провидения навсегда отвернулась от них, как от проклятых. Вся семья Энгельгардтов покинула священный град Петербург и неслышно растворилась в тиши необъятной русской провинции, где о них никто ничего не знал, а в столице о них быстро забыли...

“Ошибка” доктора Боткина

Все было спокойно, и ничто не предвещало беды...

Пять приемных дней в неделю – это, конечно, многовато для каждого врача, а тем более для такого, каким был маститый клиницист Сергей Петрович Боткин. Возвращаясь по вечерам со службы, уже достаточно утомленный, он с трудом протискивался в свою квартиру через плотную очередь жаждущих от него исцеления, а бывали и такие дни, когда очередь больных начиналась на лестнице.

– Позвольте пройти, – вежливо говорил Боткин. – Не сомневайтесь, приму всех, но прежде пообедаю и выкурю сигару.

Иногда до полуночи принимал больных, после чего принимал к возлюбленной виолончели, уверовав, что музыка лучше любой ванны снимает мозговую усталость. Редкий день Боткина выдавался свободным; трамваев тогда не было, конка далее Литейного моста не ходила, петербуржцы довольствовались прогулками в Летнем саду, где сверкал иллюминацией ресторан Балашова, а с Невы веяло прохладой.

– Катя, – сказал однажды Боткин жене, гуляя с ней по аллеям и ежеминутно раскланиваясь со знакомыми или совсем незнакомыми, которые издали снимали перед ним котелки, – помнишь ли, дорогая, что я не так давно говорил тебе о Реште?

– Да, это город в Персии, но к чему ты Решт вспомнил?

– Я получил на днях странное письмо...

– Неужели из Решта?

– Нет, от городского головы волжского Царицына некоего господина Мельникова, который бьет тревогу, ибо с низовий Волги приходят слухи о том, что в станице Ветлянской умирают люди... похоже, что от чумы.

Боткин был женат вторым браком на княжне Оболенской, для нее он был тоже вторым мужем; некрасивая, но умная женщина в очках, похожая на курсистку, она многое понимала в заботах мужа-врача, но сейчас понимать его не хотела:

– Чума? В конце века науки и прогресса? Верить ли?

– Верить надо, – отвечал он подавленно. – Чума не признает ни времени, ни пространства, а ее пути остаются для нас, грешных, неисповедимы, как и пути Господни...

Сергей Петрович был слишком известен, по этой причине двери любых кабинетов были перед ним широко распахнуты, и в один из дней осени 1878 года врач потревожил покой министра внутренних дел Макова, спросив его:

– Лев Саввич, известно ли вам, что творится в Ветлянке?

Маков покраснел, ибо не знал, где такая Ветлянка, но, поборов смущение, он сделал вид, что извещен достаточно. На всякий случай Боткин вложил в него ничтожную долю правды, которой хватило с избытком, чтобы министр схватился за голову.

– Только прошу вас, никому не говорите, – взмолился он. – Ведь если в этой обнаглевшей Европе узнают, что у нас все уже есть и даже чумою обзавелись, так бедную Россию опять будут обливать помоями, а нас, великороссов, будут величать “дикими азиатами”...

1878 год близился к своему ужасному завершению.

Астраханская губерния – край необъятный, издавна славный тем, что кормил вкусной рыбкой всю мать Россию; тут в гигантских чанах с рассолом тузлука солилась рыбка большая и маленькая, волжская или каспийская, тут существовал обильный промысел тюленьего боя, а гужбанье с пристани, грузчики-тяжеловесы, угрожали миллионерам-рыботорговцам такими словами:

– Ты, найденыш, ежели и дале нас одною паюсной икрой кормить станешь, так мы тебе, вот те крест святой, такую стачку устроим, что не возрадуешься... Вари кашу!

Губернией управлял Николай Биппен, который (по мнению служившего при нем чиновника Н. Г. Вучетича) “был крайне осторожен, робок и мнителен, его всегда смущало опасение – как на то или иное его действие посмотрят в Петербурге?..”. Узнав о непонятной смертности в Ветлянке, он хотел было вмешаться, но тут атаман Астраханского казачьего войска грудью встал на защиту станицы:

– Неча! Тамотко сидит мой бравый полковник Плеханов, не чета всем вам, ён и без вас знает, когда кому и как помирать... Ветлянка – это наше казачье владение!

А рыботорговцы устроили гвалт в приемной губернатора:

– Да нету там никакой чумы! Это тилигенты в очках придумали, чтобы им за чуму от академий разных премий надавали побольше... Ведь ежели рыбку-то не вывозить куды на прожор, так она загниет в тузлуке, мы же мильёны потеряем... сами сдохнем. Таки дела!

Правитель губернской канцелярии, пылкий грузин Давид Чичинадзе, оказался дальновиднее всех, он вызвал двух городских врачей – М. Л. Морозова и Григорьева, сказал им, смеясь:

– Слушайте! Пока там наш губернатор отлаивается от грозного атамана, а купцам только и дела, чтобы селедку солить, я, господа, желаю вам доброго пути до Ветлянки, чтобы на месте вы, как врачи, и разобрались – от чего мрут там людишки?..

Ни врачи тогда, ни историки позже так и не выяснили пути-дороги, по которым чума вторглась в пределы благословенной Астраханской губернии. Совсем недавно отгремела война России с Турцией, и они думали, что чуму занесли казаки, сражавшиеся под Карсом, а под Карсом она объявилась среди турецких солдат, занесенная ими из Месопотамии; другие утверждали, что чума приплыла по волнам Каспийского моря из Персии, где не так давно она как следует погостила в городе Реште... Вучетич, человек думающий, позже писал о чумной эпидемии, объявившейся в Ветлянке: “Она действительно была загадочной для нашей хваленой бюрократии, всегда способной лишь запутывать, осложнять и затемнять всякое дело, лишь бы по возможности умалить сам факт бедствия народа в своих личных интересах...”

Казачья станица Ветлянская (или проще – Ветлянка, как ее называли) со времен веселой Елизаветы процветала на правом берегу Волги – как раз посередине пути между Астраханью и Царицыном; станицу населяли казаки и рыбаки, а плывущие парохомом видели, что в Ветлянке ветер во всю ивановскую раскручивает крылья сразу двадцати мельниц, значит, живут и не тужат, ибо есть что молоть. Именно из этой рыбно-мукомольной благодати местный священник и известил царицынского голову, своего родственника, о том, что в Ветлянской станице творится что-то неладное: люди стали помирать, коротко отмучившись жаром, слабостью, головными болями, распуханием желез, у иных же случался бред и судороги. В станице было тогда два доктора – Кох и Депнер: первый умер, а второй... второй – убежал!

Вскоре священник снова известил голову Мельникова о том, что вокруг него все умирают, он решил описывать все случаи смерти, а когда пробьет его час, он все написанное упрячет в верхний ящик комода, чтобы люди узнали правду... Жена Мельникова, дама многопудовая, возглавляла местное общество Красного Креста, голова сказал ей:

– Понимаешь ли, моя ласточка? Коли это чума и она двигается вверх по течению Волги, то на очереди наш Царицын, потом – Саратов, а затем... страшно сказать!

– Страшно, – отвечала жена, содрогаясь могучим телом.

Содрогаясь всеми фибрами доброй души, Мельников сообщил о событиях в Ветлянке знаменитому Боткину, тот уведомил о них Макова, но министр боялся беспокоить чумой императора. Не дождавшись решения Петербурга, Мельников своей волей снарядил в станицу Ветлянскую не врача, а лекаря Васильева:

– Ты, дружок, осмотрись там, – напутствовал его голова, – возьми казаков и двух сестер милосердия. А моя женушка от Красного Креста посылает с тобой в Ветлянку обувь, чаек, сахарок, что там еще послать? Ну бельишко... Давай, дружок, поцелуемся на прощание. Век тебя не забуду!

Поцеловались. Через несколько дней в Царицын пришло письмо Васильева – жуткое. Ветлянскими казаками управлял Плеханов, полковник Астраханского казачьего войска; он сказал, что болен (через щелку двери), а лекаря к себе не допустил.

– Ты что? Сам не видишь, что конец света приходит? – сказал Плеханов. – Делай, что хочешь, а меня забудь...

А что делать лекарю, который привез умирающим пшено, чаек, сахарок и бельишко? “По дороге, – сообщил он в Царицын, – мне попадалось множество трупов... в домах больные и мертвые. Погребать умерших никто не соглашается. Матери, жены, отцы, дети – все боятся больных. Бросают дома и семейства, бегут в степь. После долгих усилий я едва нашел двух пьяниц, которые согласились хоронить тела...” Эпидемия охватила уже весь Енотаевский уезд, люди, до этого здоровые, умирали в два-три часа, помощи ниоткуда не было, и лекарь Васильев тоже скрылся.

Тут в Ветлянку нагрянули brave астраханские врачи – Григорьев с Морозовым, но признаков чумы, описанных в инструкциях по ее излечению, они не обнаружили. Мертвых полно, а чумы нет. Покойники и больные никак не укладывались в рамки инструкции: опухоли (бубон) отсутствуют, дыхание затруднено, временами кровохарканье, а в боку у всех колотье.

Один гиппократ спрашивал другого гиппократа:

– Что же мы, коллега, станем писать начальству? В руководстве по выявлению признаков чумы сказано совсем иное.

– Да, ничего похожего с тем, что мы наблюдаем. Скорее всего в Ветлянке не чума, а – пневмотифус...

Так и писали, что в Ветлянке чумы нет, зато есть повальная пневмония (пневмотифус). Этим извещением врачи успокоили себя, утешили начальство и вызвали приступ бурной радости в Петербурге; наверное, им бы довелось таскать “Анну на шее”, если бы Григорьев однажды не сказал Морозову:

– Что-то сегодня в боку постреливает.

– А мне, коллега, признаюсь, дышится скверно...

Поговорили и разом умерли (считай, не от чумы, а от этого самого спасительного “пневмотифуса”). Паника охватила соседние станицы, люди бежали куда глаза глядят, ночевали в стогах сена, копали для жительство ямы – только бы избежать неминуемой смерти. Ветлинский казак Петр Щербаков вспоминал:

– Время было лютое. Все по домам заперлись, носа на улицу высунуть боялись. А если глянешь на улицу, так сразу гробов двадцать увидишь. Везут их двое – пьянь-пьянцовская, у них гармошки, и они песни поют, на мертвых сидючи... Да, – заключал Щербаков, – я уж повоевал в жизни, всего насмотрелся. Конечно, на войне страшно, зато в Ветлянке было куда как страшнее.

Тут казаки изловили в степи лекаря Васильева и, сидя верхом, нагайками погнали его обратно в Ветлянку:

– Коли ты дохтур, так лечи, мать твою так.

– Братцы, да не доктор же я, а только лекарь.

– Ты глупее нас не притворяйся, мы сами безграмотные.

– Да боюсь я, братцы, боюсь, – плакал Васильев.

– Мы все боимся, – хлестали его казаки...

Н. Мельников писал, что за отсутствие рвения Васильева “хотели было предать суду, но ввиду оказанных им впоследствии заслуг, дело оставили без последствий”. 19 декабря из Аст-

рахани приехал в Ветлянку медицинский инспектор Егор Цвингман, дядька серьезный, который сразу и точно определил: чума! Диагноз был поставлен, но эпидемия, охватывая станицы правого берега Волги, уже переметнулась и на левобережье – в село Пришиб, а там рядом – кочевья калмыков, “черная смерть”, когда-то не раз обезлюдившая Европу, вторглась в дымные и нечистоплотные улусы. Только теперь в величественном Санкт-Петербурге забили тревогу...

Всеобщая паника обретала государственные масштабы, правда, еще не выходя из границ самого государства. 23 декабря Петербург распорядился заключить Енотовский уезд под охрану воинского оцепления, чтобы ни один житель не вздумал искать спасение в бегстве. В заснеженной степи кордоны были расставлены, костры разведены, но станичный люд, доказывая свою неустрашимость, все равно разбежался во все стороны, разнося эпидемию дальше... Николай Карлович Гире, возглавляющий тогда внешнюю политику России, боялся, кажется, не столько самой чумы, сколько того, как станут отзываться о нашей чуме в Европе:

– О-о, вы еще не знаете канцлера Бисмарка! – говорил он, закатывая глаза. – Но теперь вы его узнаете... для него эта Ветлянка как раз кстати, чтобы лишний раз нагадить России, а венские Габсбурги послушны ему, как дети строгой бонне... Наконец, в Турции и Персии чумы нет, и там смеются над нами, откуда она, эта чума, взялась?

Лев Саввич Маков велел созвать совещание:

– Из-за амбиций этого Бисмарка не скрывать же нам перед всей Европой, что – да! – у нас чума, что – да! – лекарств нету, что – да, наконец! – врачей в тех краях тоже мало...

На совещании медиков с чиновниками МВД Боткин признал ветлянскую эпидемию чумною (безо всяких сомнений), напомнив, что знаменитая чума в Москве во времена Екатерины Великой тоже начиналась с того, что тогдашние врачи трусливо боялись чуму назвать чумою, дабы не потревожить сладкий сон высочайших вельмож Санкт-Петербурга.

– Развитие в России чумы, – здесь я дословно цитирую слова Сергея Петровича, – в тех размерах, в каких она появлялась в прошлые столетия, невероятно (ныне), однако возможно появление в различных частях России большего или меньшего числа заболеваний чумной болезнью...

Итак, тревога объявлена! А куда, спрашивается, девать астраханскую рыбку или икру, если рыборотловцы Астрахани всюду натываются на штыки кордонов? Неисчислимые (и, конечно, миллионные!) уловы рыбы и баррикады бочек с икрой пропадают на пристанях, а в столицах уже воротятся от стерляжьей ухи, уже не желают есть икру ложками, ибо... испугались чумы. Сотни торговых домов в Астрахани пошли по миру, мигом разоренные, на бирже возникла паника, кто-то играл на повышение, кто-то рвал сотенные из рук, выигрывая на повышении курса.

– Господа! – орал на бирже. – Эта Ветлянка нам даром не обойдется... Разве не слышали, что говорят в Париже? Падение русского курса неизбежно... готовьтесь плакать!

Бисмарк, вестимо, не упустил удобного случая, чтобы не использовать ветлянскую чуму как отличный предлог для экономической изоляции России (за которой, возможно, последует блокада политическая?). Германия и послушная ей Австрия мгновенно расставили на границах кордоны, отказываясь от русских товаров, таможенные строгости были усилены, а наплыв русских туристов и путешественников до крайности ограничен. “Все это, – писал современник, – вместе взятое, отразилось потом миллионными убытками на русской торговле и промышленности”. Европейцы же, далекие от каверз берлинской политики, восприняли карантинные меры против России – как долгожданный сигнал к наведению порядка у себя дома: в нейтральных странах начался генеральный аврал по уборке дворов и улиц, срочно выгребались помойные ямы, не чищенные с походов Наполеона, мэры городов не гнушались проверять чистоту общественных нужников... Так что, дорогой читатель, пусть Европа еще скажет нам спасибо за то, что своей чумой мы помогли ей в соблюдении гигиены и чистоты!

Боткин оставался в столице, но многие врачи покинули ее, чтобы бороться с ветлянской чумой. Среди отъезжавших был и заслуженный профессор Эдуард Эйхвальд, основатель клинического института в столице. Доктор Василий Бертенсон оставил описание сборов профессора в дорогу и те “предосторожности, которыми хотел окружить себя даже такой серьезный клиницист – вроде наглухо закрытой одежды с проведенной в рот ему трубкой для дыхания, какие употреблялись еще в средние века”.

– Вы прямо в Ветлянку? – спросил Боткин.

– Сначала в Царицын, – отвечал Эйхвальд.

– Вы там не напугайте жителей своим видом, иначе из Царицына побегут так же, как бегают из Ветлянки...

Царицын в эти дни тоже был окружен кордонами, а 24 января 1879 года император Александр принял у себя в кабинете героя минувшей войны – генерала Михаила Тариеловича Лорис-Меликова. Это был умный и доброжелательный человек армянского происхождения, никогда не мечтавший о громкой карьере.

– Граф, – сказал ему царь, – до этого прискорбного случая с Ветлянкой не было отбою от желающих стать губернатором в Астрахани, где ворочают миллионами, но теперь трудно найти человека, который бы захотел получить эту губернию... Надеюсь, четырех миллионов вам хватит?

Лорис-Меликов был назначен временным генерал-губернатором Астрахани, Саратова и Самары, которым угрожала чума, а город Царицын он избрал для квартирования своего штаба. Генерала провожали, как смертника, осыпая перрон вокзала цветами, поэты слагали в честь его прочувственные экспромты, а дамы даже не пытались скрывать своих слез.

– Дамы и господа, – заверил провожавших Лорис-Меликов, – пусть эта ветлянская чума станет последней для матушки-России... Предлагаю не стесняться и дружно провозгласить: ура!..

27 января в сонме генералов и врачей Лорис-Меликов прибыл в Царицын, а буквально на следующий день из Ветлянки его известили, что во всей Астраханской губернии не возникло ни единого случая заболевания с чумным признаком. Конечно, это было случайное совпадение, а чума прекратилась не потому, что испугалась прибытия отважного генерала. Но зато прекращение чумных заболеваний испугало самого генерала.

– Господа, – сказал Лорис-Меликов, – к нам из Европы спешит авторитетная комиссия ученых врачей, а... что мы им покажем? Ведь они едут не просто так, а... надо им что-то показать! Европа должна убедиться, что Россия их не обманывала: чума была.

“Вырывать же трупы умерших от эпидемии из глубоко засыпанных и залитых известью могил никто не мог и подумать, ибо это было бы в то время делом рискованным и безумным”, – отмечал свидетель тех событий. Давид Чичинадзе принес “радостную” весть:

– Ваше сиятельство, – доложил он с поклоном, – чума, кажется, сама позаботилась, чтобы Международная комиссия осталась нами довольна... Вдруг очутилась девица Анна Обойденнова, и таким образом она вся – к услугам ученых Европы.

– Обрадовал... дурак какой-то, – ворчал потом Лорис-Меликов. – Сегодня Обойденнова, завтра Найденова, если так пойдет и далее, так нам вовеки от карантинных не избавиться...

Настрадался и городской голова Мельников! Вот уж не думал он, что его захудалый и пыльный Царицын, в котором полно всяческих оборванцев и нищих с живописными заплатками, этот волшебный град (будущая “твердыня на Волге”) станет принимать у себя светил европейской медицины. Как посыпались они разом, будто мусор из дырявого мешка, – только и поспевай встречать на вокзале, только успевай размещать по квартирам обывателей, выискивая такие, где клопов и тараканов поменьше... Международную комиссию составляли профессор и ученые Вены, Бухареста, Парижа, Берлина и прочих столиц, которые никаких лекарств не привезли, зато они доставили на берега Волги немало советов. Кроме раздачи бесплатных

советов, особой пользы от делегатов не было, но с их слов было понятно, что от решения комиссии зависит снятие санитарных кордонов на рубежах России...

Много позже Мельников своим гостям рассказывал:

– Надоели они мне тогда порядочно, да ведь, сами понимаете, гостей не выгонишь. Если уж честно говорить, эти ученые дальше Сарепты и не ездили, так и сидели в Царицыне на моей шее. Лишь некоторые, что гнались за “азиатской” экзотикой, добрались аж до Астрахани, где тамошние купцы им балыки в рот совали, а черной икрой готовы были ботинки им чистить...

Навигация в 1879 году началась еще в феврале, ибо Волга вскрылась раньше обычного, и граф Лорис-Меликов пароходом прокатился до Астрахани со всей свитой, набиравшей “прогонные”; говорят, что попутно заглянул он и в вымершую Ветлянку. На всем пути следования генерал-губернатора занималось зловещее зарево пожаров – граф безжалостно спалил все “чумные” дома, движимое и недвижимое имущество, чтобы уничтожить все зародыши эпидемии. При этом, не скроем, Лорис-Меликов с небывалой щедростью оплачивал владельцам полную стоимость всего сожженного, так что никаких конфликтов с “погорельцами” у него не возникало, а из суммы в четыре миллиона граф истратил на устройство пожаров и компенсацию сгоревшего всего 308 000 рублей...

Принято считать, что чума отступила от Волги сама, обессиленная. Но Россия не оставалась равнодушной к Ветлянке, “на чуму” ехали со всех концов страны ученые, врачи, фельдшеры, сестры милосердия и добровольцы-студенты, согласные рисковать своей жизнью. Заключительный итог этой схватки с эпидемией был подведен профессором Эйхвальдом, который 6 марта оповестил Россию о том, что “эпидемия в Астраханской губернии кончена, а кордоны сняты”. Об этом узнали из газет, и вывод Эйхвальда был торжественно заверен подписями членов Международной комиссии...

Между тем, читатель, в стране тогда нарастало движение народолюбцев, и после того, как Степан Халтурин пытался взорвать Зимний дворец с его обитателями, император Александр II назначил графа Лорис-Меликова *диктатором*. Конечно, в России понимали, что Ветлянка придала графу некий ореол героизма и потому – вот парадокс! – чума породила диктатора. Но, Боже мой, что тут началось на Кавказе... Кавказцев обуял дикий восторг от того, что армянин, их земляк, возвысился над русским народом. Теперь русские слышали от них даже стихи:

– Разве сама не знаешь? Ты слюшай: один Кура – один Терек, один Лорис – один Мелик... Если бы не наш Лорис, вы бы там от чумы все окочурились. Тебе, кацо, это мало?

Конечно, Михаил Тариелович таким дураком никогда не был и угнетать русский народ не собирался. В обществе диктатора прозвали “бархатным”, ибо, даже угрожая, он гладил виновного по головке, а время его правления вошло в историю под названием “диктатура сердца”. Первоапрельская бомба народолюбцев, взорвавшая Александра II, взорвала и карьеру этого человека...

Веселого во всем этом, читатель, мало.

Конец же нашего рассказа будет попросту печальным...

Тот же чиновник Н. Г. Вучетич, на которого я однажды ссылался, писал: “Я недаром подчеркнул эпитет “загадочной” эпидемии... Над ветлянской чумой ломали головы 120 врачей, вместе с профессорами, и никто из них не знал и, наверное, не знает по сие время, откуда взялась эта чума?..” Возникшая на самом отшибе империи, она, как это ни странно, имела трагический финал в столице.

Сергей Петрович Боткин, сам в Ветлянку не ездивший, был, однако, хорошо информирован о тамошних делах. Его настораживал рецидив чумы – в самый канун приезда Международной комиссии, когда казалось, что с чумою уже покончено.

– Катенька, – говорил он как-то жене, – не странно ли, что в Ветлянке вдруг заболела юная казачка Анюта Обойденова, чему даже обрадовались приезжие из Европы, желавшие

убедиться в болезни наглядно. Анюта была исследована, а гнойные бубоны в ее паху вскрывал чуть ли не сам знаменитый берлинский профессор Август Гирш.

– Казачка осталась жива?

– Да. Пора ей замуж.

– А тебя волнует... – начала была жена.

– Меня волнует, что недавно в Петербурге случилось несколько подозрительных смертей, вроде бы тифозного происхождения, но если вдуматься, то они в чем-то схожи с облегченной формой той же ветлянской чумы...

Карточки больных тогда именовались “скорбными листами”; графики колебаний температуры были едва ли не главным мерилем в распознавании болезни, но кривые синусоиды этих графиков вдруг (вдруг!) перестали соответствовать общей картине развития тифов. Боткин еще остерегался ставить точный диагноз.

– Пока я лишь наблюдаю, – говорил он студентам в клинике, – и, если приду к какому-либо выводу, я, господа студенты, не премину известить вас о них сразу же...

Помимо врачебной практики, Боткин славился в Петербурге своими лекциями в Медико-хирургической академии; на эти лекции ходились не только врачи или студенты, их посещали множество петербуржцев, увлеченных наукою, и громадный амфитеатр аудитории, рассчитанный на полтысячи слушателей, не вмещал всех желающих слушать великого врача. Доктор П. А. Грацианов вспоминал, как с этой теснотой “боролся” сам Боткин, энергичной походкой входивший на кафедру.

– Как это ни прискорбно, – были его первые слова, – но посторонних, вне моего курса академии, я очень прошу оставить аудиторию, а теперь продолжим тему о...

В этой фразе Боткин не делал паузы, сразу же приступая к лекции, а потому “посторонние”, боясь ему помешать, уже не спешили к выходу, оставаясь слушать и далее. Было, кажется, 13 февраля 1879 года – угроза ветлянской чумы еще существовала, в этот день у Сергея Петровича был обычный прием студентов в клинике, и тут – внимание! – был представлен очередной больной, являющий нечто звероподобное в своей неопрятной наружности, человек с блуждающими от страха глазами, а разбухшее лицо этого типа говорило не в пользу его трезвости, было видно, что он “приложился вчерась”, а, попробуй такого выпустить на улицу, он “приложится” снова...

– Рекомендую, господа, – представил Боткин пациента, – перед нами столичный дворник Наум Прокофьев... Кстати, любезный, где вы изволите иметь место своего проживания?

– Да тута... недалече... эвон...

– Простите, где это ваше “эвон”?

Выяснилось, что Наум Прокофьев машет метлой и собирает в совок лошадиные кругляши не где-нибудь на задворках, а в самом центре столицы – в Михайловском (Инженерном) замке, где располагалось Артиллерийское училище.

– Там же, в этом замке, и проживаете?

– Угу. Имею жительство. В подвале, конечно.

– Вы один там или...?

Увы, дворник проживал не один, вместе с ним подвал замка населяли семейные солдаты с детьми. Взгляд Боткина, обращенный к студентам, был слишком выразительным. А по мере того, как задавались им вопросы, а ординатор заполнял “скорбный лист” признаниями дворника, среди студентов началось раздвоение: смельчаки, влюбленные в риск науки, придвинулись ближе к Боткину, а трусливые жалась к дверям. Лишь ординатор строчил как ни в чем не бывало, ибо “чумовые признаки” были ему уже знакомы. Сергей Петрович, заложив руки за спину и низко опустив голову, долго молчал. Думал. Как объяснить этим молодым людям, что дворник являет собой полноценную клиническую картину... ч у м ы... Пусть даже в облегченной ее форме, но... Последовал еще один вопрос к пациенту:

– Господин Прокофьев, а эти солдаты откуда взялись?

– Да “слабосильная команда”. После войны...

Там был Каре и чума в Месопотамии, а здесь кручи Балкан, опять же война с турками... Пора ставить беспощадный диагноз. Резкий поворот к столику ординатора:

– Запишите: чума в первичной ослабленной степени...

П. А. Грацианов, наблюдавший всю эту сцену, писал, что Боткин вряд ли “поспешил” (в чем его упрекали тогда очень многие). “Слушатели профессора, писал он, отлично знали, что из уст Боткина не мог выйти поспешный или необдуманный диагноз, тем более такой, который неминуемо должен был наделать шуму...” Это хорошо понимал и сам Сергей Петрович:

– Вы, надеюсь, из опроса больного уже достаточно поняли, каков будет диагноз. Но я прошу вас, господа, не распространяться о нем в обществе, понаблюдаем далее...

Болтун нашелся! Вечером *того же дня* в габсбургской Вене мальчишки, торговавшие газетами, оглушали прохожих истошными криками: “Der Pestfall In Petersburg!” (чума в Петербурге!). А с бульваров Вены, пронизанных музыкой вальсов, молва о чуме рикошетом вернулась обратно, и столичный градоначальник А. Е. Зуров, совсем не злодей, напротив, человек добропорядочный, повидался с Боткиным, пораженный не менее самого Боткина.

– Сергей Петрович, ваше мнение ко многому нас обязывает. Стоит ли вам столь категорично называть эту болезнь дворника обязательной чумой? Неужели в медицине так трудно подыскать какой-либо более утешительный синоним?

– Александр Елпидифорович, – отвечал Боткин, – ни мне, ни вам тем более не дано право придумывать для чумы новое название. Не верите мне? Так созывайте врачебную комиссию...

Но комиссия подтвердила диагноз Боткина в том, что Наум Прокофьев является носителем чумной инфекции в той ослабленной стадии, что предшествует началу чумной эпидемии. Всех солдат с женами и детьми погнали из подвала Михайловского замка, под строгим конвоем вывезли из столицы, строго изолировав, а сам виновник их выселения так и не осознал, что он сделал в жизни такого хорошего, почему теперь за ним все ухаживают, словно за баринном. Наум Прокофьев лежал в отдельной палате, окруженный врачами, сиделками и студентами, которые палаты не покидали. О самочувствии дворника они писали репортажи на листах бумаги, показывая написанное через стекло, и так же – через стекло – прочитывали указание от профессора Боткина...

Сначала болезнь развивалась, как и положено, но однажды Боткин прочитал, что намечалось резкое улучшение, и больше всех обрадовался этому градоначальник Зуров:

– Сергей Петрович, а вы случайно не ошиблись?

Новая комиссия о чуме уже не заикалась. Все газеты, забыв про дворника, ополчились на Боткина, обвиняя его в “ошибке”. Кампанию травли начал Катков, его “Московские Ведомости” выставили врача на всеобщее посмешище, а суть катковской злобы выявилась, кажется, в самой последней фразе его статьи: “Телеграф из Берлина уже возвещает о новых мерах строгостей России, подготовляемых тамошним правительством”.

Ага! Не здесь ли и кроется суть гнева Каткова?..

Врач Н. А. Белоголовый, друг и почитатель Боткина, писал, “что его славное и ничем до сих пор незапятнанное имя, которым так справедливо гордилась Россия и вся русская наука, сразу сделалось мишенью ежедневных нападков и самых обидных оскорблений...”. Давно известно, что у талантливых тружеников всегда немало подлых завистников, которые до поры до времени помалкивают, но, стоит чуть оступиться, как они толкают, чтобы видеть тебя непременно упавшим. Разом были забыты все прежние заслуги, с каким-то ожесточенным наслаждением имя Боткина растаптывали в грязи. Сергей Петрович всегда был доверчив, по-детски добродушный ко всем людям, он желал видеть в них только хорошее, а теперь в недоумении спрашивал жену:

– Катя, отчего в людях столько жестокости?..

По словам Белоголового, “он лишился сна, аппетита, все его нравственное существо было потрясено” несправедливостью, с какой его, вчерашнего кумира, казнили и распинали. Сплетни и клевета сделали свое дело. Теперь, возвращаясь домой, Сергей Петрович уже не протискивался через толпу больных, желавших от него излечения, лишь одинокие старухи глядели жалобно:

– Спаси нас, батюшка Сергей Петрович...

В один из дней он поднес к стеклу записку, в которой спрашивал – как здоровье Наума Прокофьева? “Поправляется” – написал в ответ ординатор, и Боткин молитвенно перекрестился:

– Так я же ведь смерти ему и не желал...

Между тем, газетная клевета иногда смахивала на политические доносы, а слово не воробей – его не поймаешь. Сергея Петровича без зазрения совести винили в отсутствии патриотизма (?), в тайных связях с нигилистами (?), будто он играет на бирже (?) и потому, мол, злодейски решил уронить курс русского рубля (?); наконец, фантазия врагов дошла до такой степени, что Боткина обвинили даже в том, что он выдумал (?) чуму в Ветлянке – на страх России и на пользу ее врагам...

Наум Прокофьев был выписан из клиники и ушел домой своими ногами, снова подметая панели перед Михайловским замком...

Сергей Петрович после этого прожил еще десять лет, но силы его были уже подорваны – травлей! Он, великий клинист, спасавший многих людей от смерти, скончался от приступа грудной жабы (нынешней стенокардии). Но даже лежа на смертном одре, Боткин оставался уверен в точности своего рокового диагноза, и жена слышала от него последние слова:

– Ошибки с моей стороны не было. Я только не смог разгадать самой природы этого странного заболевания... Помнишь ли казачку Анюту Обойдену? Ведь она тоже выздоровела...

Давние споры об этой “ошибке” доктора Боткина, временами угасая, иногда снова возникают и в наше время, словно пламя из пепла тех костров, что давно загашены. Сейчас некоторые из ученых склонны думать, что дворник Наум Прокофьев переболел туляремией, которая в ту пору еще не была известна медицине. Но для нас имя Боткина сохранилось в святости...

Тайный советник

В славном и древнейшем граде Полоцке, что поминался еще в скандинавских сагах, каждую субботу начиналось повальное сечение всех учащихся – от мала до велика.

Чаще всего – в алфавитном порядке.

Секли в православной гимназии – за грехи тяжкие, секли в семинарии монахов-приаров – в поощрение, секли в духовной коллегии базилянцев – ради взбодрения духа. Разница заключалась только в том, что наказания “благородных” отпрысков регистрировались в особом журнале (для учета их успеваемости), а простых смертных лупили безо всякой записи, бухгалтерским учетом явно пренебрегая... Ну и вой же стоял в городе по субботам, визг и писк струился из обителей просвещения, а горожане Полоцка, мудро учености избежавшие, знай себе только посмеивались:

– Эва! В науку вгоняют. Так им и надобно – не лезь, куда не просят. И без того умников хватает...

Это еще не все, читатель, ты напрасно успокоился. Получив положенное от казенной школы, зареванные гимназисты, будущие ксендзы и униаты возвращались по домам, а там – о, Боже! – родители уже поджидали их с розгами, ремнями и прутьями:

– Суббота! Таков порядок. Раздевайся и ложись...

Наивный советский читатель сразу решит, что в таких условиях лучше оставаться круглым сиротой, дабы избежать домашних уроков. Ошибаетесь! Все сироты в Полоцке были распределены по квартирам – “конвиктам”, а при каждой квартире состоял уполномоченный – “префект”, который по субботам был обязан исполнять роль отсутствующих родителей... Так что, читатель, как ни крутись, от судьбы все равно не уйдешь.

Один из таких учебно-просветительских “конвиктов” находился в доме мещанина Добкевича, а “префектом” при нем состоял неумолимый Генрих Бринк, педагог-математик, в свободное время неустанно игравший на гитаре, ибо в Полоцке он считался неотразимым кавалером. Вот тут-то, читатель, и начинается самое интересное – прямо дух захватывает...

Нашего Маркса звали Максимилианом Осиповичем, и если кто из вас не знает его, то рекомендую перелистать герценовский “Колокол” – там о нем сказано немало, ибо вышеозначенный Маркс привлекался к суду по каракозовскому процессу 1866 года.

1883 год застал несчастного Маркса ссыльным в городе Енисейске, и, слушая завывание вьюги, он с женою Леокадией вспоминал юность, проведенную в Полоцке. Леокадия же была дочерью того самого домовладельца Добкевича, который сдавал внаем квартиру для Бринка и его “конвикта”. Вспоминая счастливую юность, Маркс писал об этом Бринке, что он “перепробовал розги, плетку, тройчатку и даже ременную пятихвостку” на своем самом бездарном ученике, которому математика никак не давалась.

Этим учеником был Каэтан Коссович, сын очень бедного священника из убогой белорусской деревушки. Неуклюжий и не всегда опрятный, он выделялся среди товарищей необычайно крупной головой, учился отлично по всем предметам, кроме математики. Каэтан и сам бы хотел познать, почему, допустим, икс равен игреку, но даже в детской арифметике он мало что смыслил и своему однокашнику Марксу говорил со слезами:

– Спаси меня, научи! Десять без трех – понимаю, а вот как появится семерка, я сразу делаюсь дурак дураком...

О цифре 7 Маркс вспоминал, что для Каэтана она имела какое-то роковое значение: “Никак он с этой цифрой не мог поладить, как будто у него для этого числа не хватало в мозгу особенного органа”. А грозный Бринк, отложив гитару, сразу брался за плетку, избивая Коссовича столь жестоко, что на крики мальчика сбегались Добкевич и его дочь Леокадия.

– Как вам не стыдно? – кричала девочка, сама плачущая.

Здесь я скажу, что ученики постоянно держали Бринка под негласным наблюдением, следя за ним через замочную скважину. Однажды “префект” играл на гитаре и вдруг... Вдруг он задумался, внимательно изучая толстую басовую струну. Бринк снял эту струну с гитарной деки и стал сильно хлестать ею по краю стола, присматриваясь, какие глубокие шрамы остаются на доске. Ученики с ужасом догадались, что ожидает их в ближайшую субботу, а бедный Каэтан заранее стал плакать... Тут к ним подошла Леокадия, дочка хозяина дома, девочка понятливая. Стоило Бринку удалиться, она сразу вошла в его комнату и щипцами-кусачками перерезала все басовые струны.

Вот и суббота! Бринк ласково и душевно провозгласил:

– Каэтан Коссович, ну-ка... приближайтесь ко мне.

Но увидел, что карательное средство, заранее им облюбванное в мечтах о субботе, искромсано в куски.

Под ударами плети “префекта” ученики сознались, что их разрезала дочка домовладельца. Бринк выскочил на двор, где резвилась девочка, и стал ее лупцевать, а на крик дочери выскочил Добкевич и, успешно прибегнув к помощи русских выражений, сразу поверг “префекта” в бегство. После чего, воодушевленный победой, он как следует всыпал еще и дочери Леокадии.

– Вот тебе, вот тебе! – приговаривал. – Кормят тебя, поят, одевают, чего еще надо? Не суйся не в свои дела...

Настал 1818 год – грозный для всех учеников Полоцка!

Господи, спаси и вразуми ты нас, грешных...

Коссович и Маркс учились в униатской школе пиаров, но в 1828 году эти школы были закрыты, и все желавшие учиться далее перебрались в Витебск. Маркс, из семьи обеспеченной, отъехал на телеге, а Коссович, босой и голодный, пришел в Витебск пешком. В гимназии его спросили:

– Скажите, а форменный мундир у вас имеется? – Не было у него мундира, не было и куска хлеба. – В таком случае, извините, для вас места в гимназии не сыщется. Всего доброго...

Коссович поступил в школу базилянцев, где мундира не требовалось. Он устроился на частной квартире у местного еврея-трактирщика, снимая жалкую каморку под крышей – без печки, был один тюфяк на полу, одна табуретка и жалкое подобие стола. Хозяин на первом этаже торговал водкой, а в каморке жильца он держал шкаф с книгами на древнееврейском языке. Коссович голодал, иногда лишь угощая себя картошкой с солью и селедкой с хлебом. Чай он пил лишь в те дни, когда навещал товарищей, более состоятельных. Каэтан сильно мерз по ночам, и еврей, сочувствуя ему, топором пробил дыру в своем потолке, чтобы в каморку проникал теплый воздух его жилья...

Маркс убеждал приятеля наняться гувернером в какое-либо витебское семейство, чтобы не умереть с голоду и не совсем запаршиветь в нужде, на что Коссович отвечал ему:

– Да, согласен, неплохо бы подкормиться мясным бульоном, но... когда же учиться? Я ведь слеплен из иной глины, и мне программ не хватает, я должен знать больше всех...

Он уже давно овладел латынью и греческим, а по книгам своего хозяина скоро самоучкой освоил еврейский и древнееврейский языки. Узнав об этом, витебские евреи разом восплошились и всем кагалом увлекли его в синагогу, где раввин устроил Коссовичу экзамен, тоже удивляясь тому, как этот нищий белорус самоучкой достиг таких знаний.

– То, что ты не освоил семерки, это понятно, ибо в цифре 7 заключен особый смысл. Ну-ка, встань ближе к свету... Евреи, смотрите, какая у него голова. Вай-вай!

Но в 1830 году была закрыта и школа базилянцев. Коссович оказался на улице. Маркс выручил друга: он нашел пьющего гимназиста, который за две бутылки цимлянского расстался

со своим прошлогодним мундиром, из которого он давно вырос. После же восстания поляков в 1831 году Виленский учебный центр был переименован в Белорусский, а в Витебске поселился с семьей новый попечитель этого округа – Григорий Иванович Карташевский, свояк писателя С. Т. Аксакова, человек добрый и образованный. Он вскоре и пожелал видеть Коссовича у себя.

– Я тут недавно беседовал с городским раввином, так он, раввин, признал, что вы, белорус, изучили Талмуд на древнееврейском лучше, нежели его знает он сам... Никак нельзя такие способности к языкам зарывать в землю.

– А что я могу сделать? – вдруг расплакался Коссович, ощутив подлинное добро в словах попечителя. – Мне за все эти годы, что я учусь, папенька с маменькой и грошика не прислали... у самих ничего нет. Одной картошкой и сыты.

Карташевский был немало удивлен той быстроте, с какой Коссович – самоучкой! – постигает языки, и первым делом он вызвал портного, чтобы приодеть школяра поприличнее.

– Вам надобно пожить в других условиях, – сказал он.

– Где? – удивился Коссович.

– Хотя бы в моем доме. Будете репетитором моим детям, чтобы они не ошибались в латыни. Я вас не обижу...

Каэтан Андреевич отъелся, приоделся, пообтесался в культурной дворянской семье, наговорился всласть с домашними, оттаял душой с детьми, и тут Карташевский заявил ему:

– Я решил послать вас в Московский университет на средства Белорусского учебного округа, и вы, дорогой мой, даже не благодарите меня, ибо учиться станете на казенные деньги...

Коссовичу тогда исполнилось семнадцать лет.

Московский университет переживал не лучшие времена, а состав его профессоров, давно закоснелых, тащил на свои кафедры тяжкий груз тех рутинных понятий, которые, может быть, и казались передовыми в веке Екатерины II, но теперь представлялись сущим абсурдом. Ученые грызлись между собой, процветал откровенный nepotизм, и все это отражалось на студентах, которые, видит Бог, ни в чем не были виноваты. Стоило же кому-либо из молодежи чуть-чуть проклюнуться поверх тины этого застойного болота, как ученые сразу били его по макушке, чтобы тот “не высовывался”. Коссович попал в эту трясиину, когда стараниями профессоров был изгнан из университета Виссарион Белинский.

– Как неспособный, – объяснил он Коссовичу при знакомстве. – Зато очень способным объявлен Ландовский, что доводится племянником декану университета Ваньке Давыдову...

Этот Ванька, всеми доблестями украшенный, вдруг решил издать руководство по истории всех литератур, какие есть в мире, и, всем “тыкая”, он однажды тыкнул и в Коссовича:

– Во! Ты, я слышал, польским владеешь? Это хорошо. Вот и займись обзором шляхетской литературы. От и до... Понял?

Каэтан Коссович и не смел отказаться, наоборот, он даже обрадовался, что увидит свое имя в печати. Работал усердно и написал много, а М. О. Маркс, тоже учившийся в университете, потом вспоминал, что статья Коссовича была лучше других, только длиннее. Давыдов читать ее не стал, говоря:

– Ты! Куда нам так много? Надобно сократить...

Сокращать статью декан поручил своему племяннику Ландовскому, который, хотя и носил шляхетскую фамилию, но из польского языка помнил лишь одно выражение, которое в жизни всегда пригодится: “пше прошу, пани”. Вот он и сократил. Так сократил, что из целой главы о поэте Красицком осталась одна фраза, звучащая сакраментально: “Красицкий являет собой прекрасное ожерелье, брошенное на голую шею всей польской поэзии...” Коссович прочел и рухнул в обморок.

– Оставьте меня! – закричал он, очухавшись...

И побежал к декану – жаловаться на его племянника. Слово за слово, и начался спор, а где спор – там и скандал. Коссович, потеряв меру, назвал своего редактора “придурком”, добавив, что яблоко от яблони далеко не падает.

– Значит, по-твоему, я дурак? – деловито осведомился Давыдов. – Так, так, так... Но известно ли тебе, пся крев, что в Витебске началось дело о песнях возмутительного содержания, кои найдены жандармами на самом дне сундука в доме чаусовского городничего Силина, и эти песни уже ходят по рукам московских студентов.

– Впервые слышу, – невольно оторопел Коссович, которого никто не замечал в желании распевать песни.

– Завтра ты у меня запоешь совсем иное... Слово свое Давыдов сдержал! Коссович селился в старом здании университета, где проживали “казеннокоштные” студенты. По утрам давали булку с маслом и горячий сбитень. Булку он получил, а сбитень получить не успел. Вдруг, откуда ни возьмись, нагрянули из полиции, схватили бедного Каэтана и, облачив его в солдатскую шинель, поволокли в карцер. Квартальный офицер при этом душевно сказал:

– Эх, молодость! Жалко мне тебя, дурака. Лучше бы уж спел ты нашу – “Сама садик я садила, сама стану поливать”.

– Да не пел я ничего! – разрыдался Коссович...

Сидя в карцере, он понял, что ему уготована трагическая судьба поэта Полежаева, которому тоже не позволили допить студенческий сбитень и утащили в солдаты. Но тут случилось то, чего никак не ожидал сам Давыдов, автор версии о “возмутительных” песнях, найденных в Витебске на самом дне сундука городничего. Перед началом лекции Ландовский был окружен титулованными студентами: графом Толстым и сразу тремя князьями – Оболенским, Голицыным и Лобановым-Ростовским. Эти господа загнали Ландовского в угол, каждый из четырех счел своим высоким гражданским долгом отвесить ему оплеуху. При этом аристократы изволили говорить:

– Если тебе, мерзавец, приятно быть в роли племянника нашего декана, то не думай, что твоя рожа застрахована от пощечин... Князь, ваша очередь. Граф, добавьте ему!

Эти речи услышал сам И. И. Давыдов, как раз входящий в аудиторию для прочтения лекции на тему о благе познания отечественной словесности. Один граф и три князя бестолково, но все же доходчиво объяснили профессору, что будут бить Ландовского каждый день, пока из карцера не будет выпущен бедный и умный студент Каэтан Коссович. Давыдов понимал, что с этими студентами, имевшими связи в высшем свете столицы, лучше не связываться, и Коссович обрел свободу...

Белинский встретил его на улице, спешащий:

– А я и не знал, что вы любитель пения... Впрочем, спешу. Не желаете ли побывать в самом благородном обществе?

По рекомендации Белинского он был принят в кружок Н. В. Станкевича, а вскоре многое переменилось и в самом университете. Попечителем Московского учебного округа стал граф Сергей Григорьевич Строганов, генерал в солдатской шинели нараспашку, сердитый и благородный, инженер и археолог, историк и писатель, нумизмат и... воин. Друг студентов и враг ученых болванов. При нем, словно подпиленные столбы, разом рухнули прежние авторитеты, кафедры университета украсились новыми именами – Грановский, Шевырев, Кавелин, Буслаев, Бодянский и Соловьев (историк). Все вздохнули свободнее...

Вздыхнул и Коссович! В его большой голове, помимо латыни и греческого, за эти годы легко уместились новейшие языки – английский, немецкий, французский, чешский и литовский, освоенные им самостоятельно, а знание древнееврейского увело его еще далее – к познанию арабского и персидского. Способность к познанию языков была поразительна! Как-то с Марксом они случайно забрели в костел московский, где ксендз Стржелецкий читал проповедь на итальянском. Из костела Коссович вышел задумчивый, чем-то даже расстроенный.

– О чем ты? – спросил его приятель.

– Представляется, что итальянский язык нетруден, – отвечал Коссович рассеянно. – Не попробовать ли мне?..

Через три месяца он уже свободно читал и писал на итальянском, сразу же засея за перевод Сильвио Пеллико, автора знаменитой “Франчески да Римини”, что была схожа по замыслу с трагедией о Ромео и Джульетте. И уж совсем случайно Каэтан Андреевич заглянул в мрачную пропасть таинственного санскрита, языка древней Индии, которого в России еще никто не знал.

Случилось так. Возле Сухаревой башни издавна существовал книжный “развал”, где среди всякого хлама иногда можно было выискать подлинную жемчужину. Какая-то падшая личность, бывшая “светлая”, продавала гигантский растрепанный том, исписанный странными письменами, каких Максимилиан Осипович в жизни никогда не видывал.

– Что это у тебя, братец?

– Что – не знаю, но прошу на косушку. Нужда заела...

Маркс купил эту книжищу за полтинник и вскоре похвастал приобретением перед Коссовичем; тот полистал страницы и взмолился уступить ее за любую цену, а Маркс хохотал:

– Чудило гороховое! Да я ведь для тебя ее и купил, благо один ты у нас такой, что способен в этих крючках разобраться.

Через несколько дней Коссович известил приятеля, что эта книга – “Пураны”, священный свод индуизма, писанный на санскритском языке, а уж как эти “Пураны” из Калькутты попали на Сухаревку – об этом теперь никто не узнает.

Начинался великий подвиг всей жизни Коссовича!

Из университета Коссович вышел в 1836 году со званием кандидата наук словесных. Но, как это и бывает с нужными людьми, он оказался никому не нужен, и один лишь Белинский помянул о нем как о “страстном эллинисте”, что задумал издание словаря древнегреческого языка. Каэтан Андреевич жил уроками, одно время преподавал греческий в тверской гимназии. У него появился фрак и тросточка, но по рассеянности он иногда выходил из дома в затрапезной кацавейке, держа в руке метлу дворника. Заметив ошибку, он извинялся:

– Простите. Я просто слишком задумался...

Коссович по-прежнему был не в ладах с арифметикой, никогда не зная, как рассчитываться с официантом или сапожником, а выкладывал перед ними все свои деньги, говоря:

– Будьте любезны, отсчитайте сами, сколько вам надо, а то, знаете ли, эта проклятая семерка с детства не укладывается в моей голове, а я не хотел бы вас обидеть...

В это время он штудировал труды западных санскритологов – Лассена, Бюрнуфа, Боппа и Вилькинса, а Россия своей санскритологии еще не имела. Каэтан Андреевич мечтал о зарубежной командировке, чтобы познакомиться с этими корифеями. Наконец в 1843 году он получил место учителя в московской гимназии, и тогда же его заметил профессор Степан Петрович Шевырев, нуждавшийся в таком личном секретаре, который хорошо бы понимал языки, но совсем ничего не понимал бы в жизни.

В Дегтярном переулке он предлагал ему свой мезонин.

– Живите у меня, что вам по углам мыкаться? Мои дрова, мои свечи, моя прислуга. Я так занят, так чертовски занят! А вечерами еще надобно бывать в Аглицком клубе, чтобы узнавать светские новости. Ну, просто разрываюсь на части... Кстати, переведите для меня вот эту заметку с еврейского. Буду рад, если сделаете для меня краткую компиляцию из этого лондонского обозрения. Заодно уж, очень прошу, ознакомьтесь с моей статьей для “Московского наблюдателя” и подсократите ее, колико возможно. Никак не обижусь, если вы и дополните мою статью своими соображениями... Ах, Боже, ну совсем нет времени! Выручите меня, голубчик... я побежал.

Днями учительствуя в гимназии, Коссович теперь ночи напролет, согбенный, утруждался для блага Шевырева, даже не понимая, наивный человек, что тот его попросту бессовестно эксплуатирует за бесплатные дрова и спаленные по ночам свечки, за то, что прислуга ставит ему самовар. Однако Каэтан Андреевич оставался даже благодарен Степану Петровичу, ибо через него (и через Станкевича) скоро вошел в содружество московских славянофилов: Хомяков, братья Киреевские, Елагина, Аксаковы и Плетнев (издатель) стали его друзьями. Люди с немалым весом в обществе, они нажали потаенные пружины верховной власти, и Коссович с головой погрузился в древнюю пыль архивов, открывая в этой пыли сокровища.

– Ну, что нашли нового? – спрашивал его Аксаков.

– Отрывок из письма Рабби бен-Ицхака, близкого к халиву испанскому, где он пишет к царю хазарскому. Мы еще не знаем о роли еврейства в Хазарском царстве, но мне интересно выявить связи отдаленного Запада с миром древнего Востока...

– Откуда у вас все это? – удивлялись славянофилы.

– О-о, господи! Все началось с книжного шкафа в каморке витебского еврея, где я познал первые восторги юности...

Послушав Коссовича, иногда его спрашивали:

– Так значит, вы семитолог?

– Скорее уже санскритолог.

Незнакомые ему люди интересовались:

– Вы, говорят, первый у нас санскритолог?

– Пожалуй, – смеялся Коссович, – я все-таки иранист, изучающий Авесту и клинообразные надписи Ахеменидов, меня интересует и таджикский язык, столь близкий к зендскому...

– О Боже! Так кто же вы на самом-то деле?

– Увы, я... б е л о р у с, обожающий свой бедный народ...

– Шутите? – обижались светские дамы.

– Если и шучу, мадам, то шутки мои горькие...

Стараниями Коссовича русские читатели впервые узнали трактаты “Махабхарата”, “Торжество светлой мысли”, Каэтан Андреевич старательно прививал русским людям вкус к познанию высоконравственной философии мудрецов древности. Петр Александрович Плетнев не раз говорил ему – дружески:

– То, что вы делаете, превышает всякое разумение наших критиков-недоучек, и, мало что понимая в ваших трудах, они будут злиться именно за свое непонимание вас...

Он же писал Коссовичу осенью 1848 года: “Не смотрите на то, что появится в журналах для вас обидное и неприятное. Не тут, совсем не тут ваши судьи! Придет еще время, когда имя Коссовича будет признаваться с благодарностью и почтением, как имя *основателя* в России целой школы исследователей санскритской филологии...” Авторитет Коссовича был в это время беспорен, и в 1847 году граф Строганов сообщил ему, что желательно иметь в Московском университете кафедру санскритского и персидского языков, о чем он, попечитель округа, уже известил министра народного просвещения Уварова.

– Я уже просил Уварова о заграничной командировке для вас, чтобы в Бонне, в Риме, в Лондоне и Париже вы наглядно ознакомились с методами тамошнего преподавания. Вы рады?

– Это моя давняя мечта, – признался Коссович.

– Тогда и я рад... за вас, милейший.

Но министр Уваров в командировке отказал, и до графа Строганова дошли его слова о ненужности кафедры санскритологии в Московском университете. Строганов был зол:

– Этот олух на мой запрос ответил, что у нас, мол, и русского-то языка не ведают, так зачем санскрит, если имеется восточная кафедра в Казани... Ах, что взять с дурака? Но я, милейший Каэтан Андреевич, советую вам потихоньку перебираться на берега Невы, где ваше усердие будет оценено скорее и более достойно. Над вами еще не издеваются?

– Уже пробуют, – ответил Коссович, – так, например, в “Современнике”, ничего не поняв в индийской философии, дружно воскликнули все критики разом, приветствуя мои труды возгласом: “Да здравствует загробная тень Третьяковского!”

– Вы по-прежнему палите свечи в мезонине Шевырева?

– Нет, меня приютила княгиня Оболенская...

– Уезжайте! Я дам вам рекомендательное письмо к барону Модесту Корфу, что директором в Императорской публичной библиотеке... А я уже разругался с Уваровым, как извозчик, и подаю в отставку. Без меня вам здесь будет плохо.

Каэтан Андреевич перебрался в столицу и вскоре женился. Елизавета Николаевна, жена – избранница его сердца, оказалась хорошим человеком, в их отношениях всегда царила тишь да гладь и Божья благодать. Впрочем, это и понятно. Такие труженики, каким был Коссович, никогда своих жен не огорчают лишними осложнениями, и при них женщины счастливы и спокойны, ибо у подобных мужей нет лишнего времени, чтобы делать женам всякие неприятности, – на это способны одни лишь бездельники!

Конечно, санскрит и древнееврейский – это не те языки, что необходимы на каждый день, и в Петербурге не слишком-то нуждались в услугах Коссовича. Сначала он, как семитолог, наладил цензуру еврейской литературы, в тайнах которой русские цензоры разбирались, как свинья в апельсинах. Затем Каэтана Андреевича привлек к себе барон Модест Корф, лицейский товарищ Пушкина; об этом человеке наши пушкинисты отзываются не ахти как ласково, но, мне кажется, Корф заслуживает доброго слова как историк, по сути дела и создавший Императорскую публичную библиотеку во всем неисчислимом разнообразии и богатстве, укрепив ее ценность научными каталогами.

– Вы мне нужны, – сказал он Коссовичу. – Без вас никому не разобраться в древнейших рукописях библиотеки, созданных неясно когда и на каких языках – тоже нам неизвестно... Думаю, вам следует побывать в Англии, чтобы с помощью тамошних ориенталистов расшифровать загадочные письма.

Русским послом в Лондоне был Филипп Бруннов:

– Англичане считают, что изучать тайны санскрита можно только в Индии с помощью ученых брахманов-пандитов, а где изучали санскрит вы? – спрашивал он с недоверием.

– Не удивляйтесь – в Москве.

– Все-таки я вынужден удивиться тому, что вы сказали, ибо брахманов-пандитов в Москве я не встречал...

Этому удивлялись и английские ученые, а рукописи, которые Коссович привез из Петербурга, они разгадывали с трудом. Заодно уж Коссович окунулся в бездны Британского музея, отыскав немало ценных бумаг о России прошлых веков, чему барон Корф немало порадовался. Он полностью доверял Коссовичу и, отъезжая на Баден-Баден, говорил:

– Будьте за меня! Вам колокола и церковные дела...

Вскоре Академия наук предложила Коссовичу составить русско-санскритский словарь, о чем он известил Плетнева: “Если это сочинение откроет в моем Отечестве доступ к изучению древнейшего и прекраснейшего языка, то цель моей жизни будет достигнута”.

Между тем в русской столице немало было студентов, желавших изучать именно санскрит, и граф М. И. Мусин-Пушкин, попечитель Петербургского учебного округа, пожелал видеть Коссовича ради приятной беседы:

– Будь по-вашему! Я и сам понимаю, что столичный университет России нуждается в кафедре санскритологии. Только сразу расширим задачи кафедры, включив в нее и тибетско-монгольские языки, ибо Россию, как бы она ни считала себя Европой, от стран Восточных не оторвать... Одно плохо!

– Что же плохого, Михаил Николаевич?

– Ах, милый! Просто у нас нет денег, чтобы достойно оплачивать ваши лекции по санскритологии, будь она неладна.

Тут Каэтан Андреевич даже возмутился:

– Да разве я прошу денег? Согласен жить на скромное жалованье библиотекаря при бароне Корфе, а курс лекций в университете я буду читать *бесплатно* — лишь бы в России поскорее возникла своя школа русских санскритологов...

Елизавета Николаевна одобрила поступок мужа:

– Бог с ними, с этими деньгами, но я ведь с твоих слов уверена, что России нужна санскритология, как и математика.

Каэтан Андреевич чуть не скрипнул зубами:

– Слово “математика” в моем доме не произносится! Или ты, Лиза, забыла, сколько меня пороли в Полоцке... за семерку, значение которой я до сих пор так и не осилил!

Коссовичу было уже за сорок, когда он издал древнеиндийский эпос “Рамаяна”, издал и древнеперсидские “Зенд-Авесты”, которые с восторгом приняли ученые Запада, а в России нашлись критики, утверждавшие, что все это “излишняя роскошь”, недостойная внимания русских людей, поглощенных совсем иными заботами. В 1865 году Коссович почти целый год провел в Париже, издавая древние рукописи, ибо в типографии Бюрнуфа отыскивались отличные шрифты восточных языков, их отпечатки точно совпадали с написанием букв в рукописях тех миров, что давно угасли. Слава Коссовича становилась международной, но степень доктора сравнительного языкознания он получил не в Петербурге, а в Харькове, зато в Париже, и в Берлине, и Лондоне его давно называли академиком...

– Вам надо почаще гулять, – говорили врачи. – Нельзя же всю жизнь проводить за столом, вдыхая пылицу архивных манускриптов, в полусогнутом состоянии.

– Н е к о г д а, – отвечал Коссович врачам...

Уступая их диктату, в одной из комнат своей квартиры он развел огород, посадил елочки и рябинку, там порхали птицы и прыгал зайчик. Здесь он гулял, лаская зайца, а птицы клевали зерна с его доброй ладони... Жене он говорил:

– Как велика и как трудна жизнь человека! Мне, Лизанька, еще повезло: я смолоду открыл в себе те способности, которые втуне были заложены в моих несчастных и нищих предках. А сколько еще людей на Руси живут, страдают и умирают в неизвестности, так и не познав великого счастья – открыть самих себя для тех целей, какие им предопределены судьбою...

Коссович не забывал и семитологию; его грамматика еврейского языка выдержала в России 21 издание, и ученые раввины Петербурга низко кланялись ему, словно ученому “цадику”.

– Мы вам за это поставим памятник, – обещали они.

– Памятник? Где?

– Где хотите... хоть в Палестине!

– Лучше вы, раббе, повесьте памятную доску на том трактире в Полоцке, где я случайно обнаружил шкаф с вашими древними книгами, с которых все и началось...

Однажды он вернулся домой, чем-то взволнованный.

– Что с тобою? На тебе и лица нет, – испугалась жена.

– Ты не поверишь, что случилось! – отвечал Коссович. – Я встретил на улице жалкого и презренного старика на костылях и... Не может быть, как поверить? Но мне показалось, что это был тот самый Бринк... тот, что избивал меня в Полоцке, ибо мне никак не давалась проклятая “семерка” в математике. Может, я ошибаюсь. А может, и... нет? Но прошлое вдруг ожило во мне, и мне, Лиза, поверь... мне хотелось подать ему милостыню!

...Каэтан Андреевич Коссович умер 26 января 1883 года в чине тайного советника и был погребен подле жены на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

В *седьмом* томе Советской Исторической Энциклопедии об этом человеке имеется заметка, в которой я насчитал только *семь* строчек. Из библиографии приведена лишь статья А. С. Шофмана, помещенная в давние годы и в узкоспециальном издании с ничтожным тиражом, почти недоступная широкому читателю.

Именно эта скудность наших познаний о великом русском языковеде и заставила меня написать эти страницы.

Битва железных канцлеров

Германии как империи еще не существовало, а политику прусских королей представлял в Петербурге посол – Отто Бисмарк фон Шёнхаузен... Однажды император Александр II в присутствии Бисмарка вел беседу с князем Горчаковым, ведавшим иностранными делами; царь говорил по-русски, уверенный, что посол Пруссии его не поймет, и вдруг заметил настороженный блеск в глазах дипломата.

– Вы разве меня поняли? – резко спросил император.

Бисмарку пришлось сознаться, что – да, понял.

– От топота копыт пыль по полю бежит, – неожиданно произнес он по-русски и засмеялся. – Мне с трудом дается произношение звука “ы”. Но я решил осилить его варварское звучание...

Горчаков привел слова из немецкого языка, в которых буква “i” ближе всего подходит к русскому “ы”.

– Я осмелюсь говорить на русском языке, – заявил Бисмарк, – когда освою значение вашего слова “ничего”. Русские при встрече на вопрос о жизни отвечают, что “живут ничего”. Сейчас, когда я ехал во дворец, ямщик на повороте Невского вывернул меня в сугроб, я стал ругаться, а он отряхивал мою шубу от снега со словами: “Ничего, барин, ничего” – это... ничего, и только!

– Бог мой, – ответил Горчаков. – Сопоставьте наше “ничего” с английским выражением “never mind”: они почти тождественны...

Бисмарка учил русскому языку студент-юрист В. Алексеев, который за двадцать два урока брался обучить любого иностранца читать и разговаривать по-русски. Бисмарк выходил к студенту с сигарой в зубах, в темно-синем халате, на голове была ермолка из черного шелка. Он уже тогда начал лысеть, усы висели небрежно, а над ними краснел глубокий шрам от укола рапирой.

– Добрый день, коллега, – дружелюбно здоровался посол со студентом за руку и сразу же угощал его сигарой.

Алексеев заметил, что Бисмарк не терпит карандаша.

– Карандаш, – говорил посол, – я предоставлю изнеженным и слабеньким людям. Сильный человек пишет исключительно пером.

Бисмарк успешно переводил “Дворянское гнездо” Тургенева, на его столе неизменно лежали свежие выпуски герценовского “Колокола”. Возле ног посла крутился мохнатый медвежонок, привезенный из-под Луги, где Бисмарк застрелил на охоте его мать.

– Жалею, что выдал знание русского языка перед царем и Горчаковым, – однажды сознался он Алексееву со смехом...

Между Бисмарком и студентом часто завязывались откровенные разговоры на политические темы. Алексеев как-то пожелал узнать, что думает посол о России и русском народе.

– Россия будет иметь великое будущее, – охотно отвечал ему Бисмарк, – а народ ее велик сам по себе... Вы, русские, очень медленно запрягаете, но зато удивительно быстро ездите!

При слове “Австрия” глаза у Бисмарка наливались кровью:

– Австрия вся в прошлом: это труп... Но труп, который разлагается на дороге Пруссии! Я думаю, что немцы не имеют права называть себя немцами. Это – пруссаки, баварцы, ганноверцы, саксонцы, мекленбуржцы. После сильного дождя отечество каждого из них виснет на подошве сапога! Пруссия должна свалить все в один мешок и завязать узел покрепче, чтобы эта мелкогерманская шушера не вздумала разбежаться...

Освоив русский язык, Бисмарк дал Алексееву 32 рубля.

– Однако, – смутился студент, – мы ведь договаривались, что за каждый урок вы будете платить не по рублю, а по полтора.

– Дорогой мой коллега! – с чувством отвечал Бисмарк. – Но вы забыли стоимость сигар, которыми я вас угощал...

Бисмарк посетил Москву и писал жене, что здесь он сильно “обрусел”. Его описания московского быта великолепны; он сумел, как никто из иностранцев, оценить своеобразную красоту Москвы, утопающей в зеленом море садов и огородов.

– Если бы не дороговизна дров и не безумные чаевые лакеям, я желал бы оставаться в России послом короля до последних дней жизни... Мне здесь нравится! – говорил он жене.

Бисмарк любил гулять по тихим улочкам Васильевского острова, где селились немецкие мастеровые. Однажды посол видел, как булочник Михель дрался с кровельщиком Гансом.

– Именем посла Пруссии... эй, вы, прекратите!

Но немцы продолжали волтузить друг друга, и тогда Бисмарк позвал русского городского. Тот сграбастал обоих за цугундеры и поволок в ближайший участок. При этом Михель с Гансом кричали послу Пруссии, что он поступает антинемецки.

– А что делать? – вздыхал Бисмарк. – Я уже давно пришел к убеждению, что примирить и объединить всех немцев можно только полицейскими мерами... кулак — вот что нам всем нужно!

Князь Александр Михайлович Горчаков пришел к управлению внешней политикой Российской империи —

В те дни кроваво-роковые,
Когда, прервав борьбу свою,
В ножны вложила меч Россия —
Свой меч, иззубренный в бою.

Страстный патриот России, великолепный стилист и оратор, утонченный вельможа-аристократ, умнейший человек своего века, Горчаков носил славу “бархатного” канцлера. Но это не совсем так: он умел быть и “железным” властелином политики, если дело касалось чести русского народа. А время было трудное... Парижский трактат 1856 года нанес России удар по ее самолюбию: Черное море объявлено нейтральным, России запрещалось иметь Черноморский флот и арсеналы в портах. Это был крах! Крах всей бездарной политики, которую при Николае I проводил канцлер Нессельроде – космополит и карьерист, слепо исполнявший венские приказы. Горчаков же, напротив, был лютым врагом канцлера Меттерниха и всей австрийской системы удушения Европы жандармскими методами, почему он и не сделал карьеры при Нессельроде... Теперь, придя к власти, Горчаков провозгласил лозунг новой русской политики; весь мир облетели его слова, ставшие крылатыми: **“ГОВОРЯТ, ЧТО РОССИЯ СЕРДИТСЯ. НЕТ, РОССИЯ НЕ СЕРДИТСЯ – РОССИЯ СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ”**. Последнюю фразу можно было прочесть иначе; именно так ее и прочли в кабинетах Европы: *“Россия усиливается!”*

Своему другу, барону Жомини, Горчаков говорил:

– Мы должны быть терпеливы, как роженица, которая в муках рождает новую жизнь. Будем наблюдать, пока в европейском концерте не запоет нужная нам скрипка. Моя главная цель – иметь Францию в друзьях! Но... красные штаны французов, щеголявших в Ялте и Балаклаве, – это, согласитесь, слишком вызывающая картина! Государь связан семейными узами с Берлином, и я должен учитывать растущее влияние Пруссии на весах политической игры... Я слышу тихий шорох: это время работает на Россию! А когда волны Севастопольской бухты смывают из памяти народа грязное пятно Парижского трактата, я смогу повторить слова Пуш-

кина, завещанные им мне в пору нашей лицейской молодости: “ ты сотворен для сладостной свободы, для радости, для славы, для любви...”

Горчаков до старости оставался поклонником женской красоты, но прожил однолюбом, и Божий свет померк для него, когда во Франкфурте скончалась его жена... Кстати, именно там, во Франкфурте, Горчаков и познакомился с Бисмарком, который, будучи еще молодым дипломатом, представлял свою Пруссию в Германском союзе.

– Я так много о вас слышал, – сказал Бисмарк, – что желал бы поступить к вам на выучку. Натаскайте меня в политике, как французы натаскивают свиней для розыска шампиньонов в лесу...

“Бойтесь этого господина – он говорит только то, что думает!” – так рассуждали в Лондоне. Но Горчаков за прямою высказываний Бисмарка разгадал кривизну его подпольных замыслов. На выучку он его взял! Дрессировал скорее из любви к искусству, нежели по привязанности. В своих мемуарах Бисмарк честно признался, что слушал Горчакова, как пение Орфея...

Теперь они встретились в России; Горчаков летние жары проживал в Петергофе, окна его кабинета были отворены, ликующий шум фонтанов наполнял комнаты, ветер с моря раздувал белоснежные занавеси. Бисмарк был почтителен и ласков, обхаживая русского канцлера, словно избалованный кот миску с жирной сметаной... Конъюнктуры решали все!

Пруссия – родина матери императора Александра II, и это обстоятельство всегда учитывалось в Петербурге. Бисмарк отлично сознавал, что в будущих конфликтах Берлину достаточно одного лишь нейтралитета Петербурга, и тогда Пруссия может нагнать, сколько ей вздумается. Горчаков тоже понимал это, но Парижский трактат засел в его сердце плотно, как гвоздь в стенке, и выдернуть его можно было с помощью той же Пруссии... Опять конъюнктуры!

– Я верю в вашу будущность, – говорил Горчаков. – Но если вы станете канцлером, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над миром вроде метеора, а остались вечно сияющей звездой...

Простая любезность. Но за нею – политический смысл.

Весной 1862 года Бисмарк пришел к Горчакову:

– Прощайте. Меня переводят послом в Париж, но что я там буду делать без вашего руководства... право, ума не приложу!

Он открыто сожалел о том, что покинул Петербург, где оставил множество интересных друзей.

– Я там славно поохотился на медведей, но забыл дорогу в церковь. Всегда обожал длинные сосиски и короткие проповеди...

Портсигар Бисмарка украшала серебряная пластинка, на которой было выгравировано одно русское слово: *ничего!*

Ничего в политике не бывает. Бисмарк пробыл в Париже недолго, успев присмотреться к Наполеону III, который начал жизнь карбонарием, а стал императором. Странное перевоплощение! Император французов был карикатурен: маленький, с кривыми ногами и слишком крупным туловищем, на подбородке – козлиная эспаньолка; он был талантливым фокусником и мечтал выступать в цирках... Однажды на загородной даче в Вильнёв-Этани император спросил:

– Бисмарк, вы верите в то, что я – Христос?

– Если докажете... отчего же и не поверить?

– Тогда сидите здесь, а я пешком пойду по воде.

Наполеон III спустился к озеру и пошел по воде, аки Иисус Христос. Он достиг середины глубокого озера и вернулся обратно.

– Теперь вы понимаете, что такое император Франции?

– Понимаю, ваше величество. Просто у вас отличные па-де-скафы, такие резиновые надувные лодочки-галoши, надев которые себе на ноги, я тоже могу уподобиться Христу.

– Вы непоэтичны, Бисмарк, как и все пруссаки.

– Ваша правда. Но жалованье от берлинского двора я получаю не за лирику...

Скоро он был отозван и стал президентом в правительстве, полностью подчинив своей воле престарелого рамолика кайзера Вильгельма I. Отсюда и начинается тот Бисмарк, которому еще при жизни ставили памятники. “Великие дела, – заявил он в парламенте, – совершаются не болтовней, а железом и кровью...”

На это из России послышался ответ Тютчева:

Единство – возвестил оракул наших дней —
Быть может спаяно железом лишь и кровью.
Но мы попробуем спаять его любовью,
А там посмотрим, что прочней...

Но клыки уже отточены. Пора опробовать, как они раздирают добычу. Пробовать лучше всего на беззащитной жертве. Прусская армия разбила армию Дании, отняв у нее область Шлезвиг-Голштинию. В 1866 году в битве при Садовой прусская машина размозжила в лепешку легионы Австрии, и дорога на Вену была открыта. Глядя на трупы убитых австрийцев, Бисмарк вполне серьезно сказал:

– Теперь нам осталось сделать самое малое – заставить Австрию полюбить нас, пруссаков...

Вильгельм I и генерал Мольтке уже писали о диспозиции войск, вступающих в столицу разбитого противника. Бисмарк устроил им истерику! Он катался по полу, он выл, он грыз зубами ковры:

– Рубите мне голову, но только не трогайте Вену!

Политик, он понимал то, чего не понимали генералы. Заняв Вену, Пруссия получала только Вену и... *врага*, жаждущего реванша. Если же великодушно ограничить себя победой при Садовой, Пруссия получала на будущее *всю* Австрию как верного сателлита. Бисмарк настоял на своем: Мольтке задержал армию у распахнутых ворот Вены. “Благодарю, – сказал ему Бисмарк, вытирая слезы, – за это обещаю, что вы будете гарцевать на Елисейских полях...” Вопрос сложный. Как на это посмотрит Петербург?..

Горчаков отказался заключить с Пруссией военный союз, но дал понять, что не станет мешать Пруссии в конфликте с Францией, если при этом будут уничтожены позорные параграфы Парижского трактата. Царю он внушал: “Чем более я изучаю политическую карту Европы, тем более я убеждаюсь, что серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, *если не единственная*”.

Вечером его навестил Федор Иванович Тютчев, вечно юный, вечно влюбленный старец – в венце седых волос.

– Когда я был проездом в Дюссельдорфе, – рассказал он, – немцы уверяли меня, что им нужны три войны: с Австрией, чтобы выбить ее из Германского Союза, с Францией, чтобы ослабить ее, и, наконец... с Россией, чтобы отбросить нас дальше от Европы!

Два старца остро взирали один на другого через блестящие стекла очков, отшлифованные в иенских мастерских Карла Цейса.

– Я это знаю, – ответил Горчаков невозмутимо. – Но политика не терпит сентиментальности. Сейчас все эти бисмарки и мольтке, хотят они того или не хотят, льют воду на русскую мельницу... Парадокс, однако – так: стремясь к Парижу, немцы косвенно помогают России возродить Черноморский флот! **МЫ ОСТАНОВИМ ПРУССИЮ, КОГДА НАШ ФЛОТ ВЕРНЕТСЯ В ГАВАНЬ СЕВАСТОПОЛЯ...** Ясно?

В 1867 году открылась Всемирная выставка в Париже (важное событие в истории цивилизации народов!). Съехались и монархи. Рядом с массивной глыбой русского царя восседал миниатюрный Наполеон III. Они проезжали в открытой коляске через Булонский лес, когда из толпы парижан швырнули в них бомбу, пролетевшую мимо. “Если ее бросал итальянец, – сказал Наполеон III, – то бомба принадлежала мне. Если поляк – то это вам, мой друг!” Бомбу бросал поляк, и русскому царю было неуютно в Париже...

А выставка была удивительна, хотя Россия, еще не имея опыта в этом деле, предстала весьма скромно. Петербург решил покорить Париж дешевым обжорством, и толпы парижан осаждали русский ресторан, где им с поклонами прислуживали боярышни в жемчужных кокошниках, где соколами летали с подносами бедовые ребята-половые. Французам подавались: кислые щи, гречневая каша, пироги и кулебяки, крошка и ботвинья. Вихрем кружились цыгане, и старая таборная ведьма с глазами, как две черные тарелки, качая кольцами серег в ушах, удушала парижан басом:

Обобью я гроб батистом,
А сама сбегу с артистом...

Ну а что Пруссия? Бисмарк выкатил на Марсово поле в Париже произведение Круппа, олицетворявшее новую Пруссию, – не пушку, а монстр-пушку весом в пятьдесят тонн. Это было чудовищное зрелище, и парижане не понимали только одного: зачем бедным пруссакам нужен такой дорогой монстр?..

Через три года они это поняли, когда великолепная, прекрасно обученная армия Пруссии рванулась к Парижу, разбивая по очереди одну армию французов за другой, будто злой мальчик ломал детские игрушки девочки. Все решилось в битве при Седано, где император сдался сам и сдал в плен свою армию. Наполеон III ехал в широком ландо, когда на громадной рыжей кобыле к нему подскакал заляпанный грязью Бисмарк в железной каске и отсалютовал ему палашом:

– Нет, вы не Христос, а я не Пилат... Помните, вы говорили мне: “Государственный деятель подобен высокой колонне: пока она на пьедестале, никто не может измерить ее, но когда она рухнула – мерь ее кто хочешь и как хочешь...” Вы рухнули!

В Зеркальном зале Версаля он почти насильно венчал голову Вильгельма I короною императора – на политической карте Европы возникла новейшая держава, на совести которой впереди будут лежать две мировые войны. Пруссии не стало... Появилась мощная Германская империя!

– Вот теперь, – сказал в Петербурге русский канцлер, – когда тщеславие берлинских михелей и фрицев удовлетворено, мы сделаем то, что угодно матери-России...

По миру разошелся знаменитый циркуляр Горчакова, в котором канцлер объявил, что Россия отказывается от соблюдения статей Парижского трактата...

Жомини предостерег князя:

– Сейчас на вашу голову падут молнии.

– Но я сижу под таким дубом, что мне не страшно.

Первым влетел в кабинет посол королевы Виктории:

– Англия прочла вашу ноту с... ужасом!

Выстояв под словоизвержениями посла, князь ответил:

– Благодарю вас, сэръ, за то, что вы дали мне возможность прослушать удивительно забавную лекцию, похожую на диссертацию по международному праву... Я даже вспомнил свою юность!

Вслед за послом Англии явился посол Австрии:

– Вена прочла вашу ноту с крайним... удивлением...

– Ах, и только-то? – засмеялся Горчаков. – Право, не узнаю гордой Вены... Лондон прочел мою ноту с ужасом, а вы вникли в нее лишь с удивлением. Но знайте, что Россия стояла и стоять будет на Черном море ногою твердой... *на века!*

Ф. И. Тютчев тогда же отметил это событие стихами:

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля.
В свои права вступает снова
Родная русская земля.
И нам завещанное море
Опять свободно волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Два старца остро взирали один на другого через блестящие стекла очков, отшлифованные в иенских мастерских Карла Цейса.

Парижский пролетариат уже тогда нес на своих знаменах идеи Интернационала, и потому самую большую пушку французы называли “Бетховен”, а самый крупный воздушный шар – “Союзом Народов”. Химики трудились над изготовлением похлебки из желатина. Почту по стране разносили голуби, но Бисмарк велел доставить из Германии стаю ястребов, которые, играя роль будущих “мессершмиттов”, в воздушных боях сбивали беззащитных голубей. Каминь в Париже стояли холодные. Историки подсчитали, что было съедено 5000 кошек и 1200 собак; крыс не стало... Возле дверей русского посольства толпились очереди: русская дипломатия кормила голодных парижан. Настали громкие дни Парижской Коммуны...

Перед этим на пороге Горчакова предстал Тьер.

– Только одна Россия может спасти Францию, – заплакал он.

– Францию спасет сама... Франция, – любезно отвечал канцлер послу. – Но рука Парижа, протянутая к Петербургу для пожатья, не повиснет в воздухе... Не забывайте – вы побывали у нас в Крыму! Необходимо время, чтобы следующие поколения русских людей воспринимали этот факт как исторический казус – не больше.

Бисмарк отнял у французов Эльзас и Лотарингию; Бисмарк наложил на Францию шесть миллиардов контрибуций. “Бархатный” канцлер из Петербурга показал свои когти “железному” канцлеру в Берлине, и контрибуции были снижены до пяти миллиардов... Горчаков теперь говорил другим тоном: “Нам, русским, **НУЖНА СИЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ...**” В общественном мнении России вдруг что-то надломилось: все вокруг кричали о беде Франции и громко осуждали разбой Германии. А потому, когда в 1873 году, сверкая железными касками и шишаками, явились в Петербург, будто на смотрины, Вильгельм I, Бисмарк и Мольтке, русская публика встретила их холодным, презрительным равнодушием... Бисмарк наедине повидался с Горчаковым.

– Вы получили в соседи сильную Германскую империю, – сказал он. – Такую сильную, что с ней надо считаться.

– Теперь нам желательно иметь сильную Францию, с силой которой вам, сильным немцам, предстоит сильно считаться...

Бисмарк расхохотался! Он надеялся, что миллиарды контрибуций закабалят Париж, французы еще долго будут шататься от голода, покорно выслушивая фельдфебельские рыки из Берлина. Но случилось невероятное: Франция быстро расплатилась с Берлином – и это было ударом по Бисмарку, ударом по всем планам Германии. Народ Франции доказал свою жизнестойкость. Даже великий Пастер, на время забыв о микробиологии, взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое; в своем патенте

Пастер писал: “Это будет пиво национального реванша...” Он своего достиг – французское пиво стало лучше баварского.

– Нам больше ничего не остается, – рассуждал Бисмарк, – как снова наброситься на Францию и сожрать ее так, чтобы хруст костей был услышан даже в пустынях Патагонии.

Бестрепетный Мольтке мудрил над картами:

– А вот и Бельгия – отличный коридор к Парижу...

Уже выковался первый вариант будущего “плана Шлиффена”¹.

Европа видела дурные сны. Франции грозила катастрофа.

Горчаков стоял возле самых истоков кризиса.

– Очевидно, вся моя жизнь, – говорил он, – являлась лишь прелюдией к той битве, в которую я сейчас вступаю...

Немецкие газеты кричали: Германия не смирится с тем, что ее соседка богатеет и вооружается. Русский посол в Берлине депешировал Горчакову: германские пушки на Рейне уже заряжены... Была ранняя весна 1875 года! Утром лакеи одевали старого канцлера. Щелкнула челюсть, поставленная на место. Его бинтовали в корсет, и грудь выпрямилась. После мытья огуречным рассолом лицо разругинилось. Был подан фрак. Муар андреевской ленты опоясал его; звезды сверкали бриллиантами; на шее канцлера болтался драгоценный “телец” ордена Золотого Руна... Что еще?

Начиналась битва железных канцлеров.

Карета эффектно остановилась возле французского посольства. Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира.

Горчаков взмахнул шляпой перед послом Франции.

– Дорогой Лефлю, – сказал он ему, – я всегда был поклонником вечно юной красавицы Франции. Будьте же уверены (и заверьте в том Париж!), что отныне все усилия России будут направлены к тому, чтобы сдержать тевтонское нетерпение Берлина...

В мае Париж и Брюссель просили Петербург о поддержке в случае нападения Германии; канцлер переломил в своем повелителе родственные настроения, царь открыто выражал приязнь к Франции.

– Ваше величество, – внушал ему Горчаков, – вы отправляетесь пить эмские воды. Я думаю, что по дороге в Эмс оправдана короткая остановка в Берлине, чтобы образумить тамошних драчунов...

Александр II согласился на остановку. Вдоль перрона берлинского вокзала свежий ветер раздувал белые пелерины германских генералов; мордатый Бисмарк, в меру пьян, небрежно прикладывал два пальца к сверкающей каске. Горчаков взирал на суету встречающих через оконное стекло царского вагона...

Рейхсканцлер шепнул Мольтке – с откровенностью:

– Сейчас Горчаков выпрется из вагона, как надушенная примадонна, и станет действовать мне на нервы старомодным белым галстуком и претензией на версальское остроумие... Ужасный старик!

Вдоль идеально подметенного перрона шли два властелина Европы – кайзер Вильгельм I и император Александр II; Горчаков наблюдал, как резко жестикулировал царь и как в недоумении разводил руками германский кайзер. Горчаков снял цилиндр и, взмахнув им, приветствовал пелерины и колеты бравой потсдамской гвардии, кричавшей ему то немецкое “хох”, то русское “ура”.

Переговоры начались. В планах Бисмарка было ввести немецкую армию во Францию и четырнадцать лет держать страну под прессом оккупации, высасывая из нее последние соки контрибуциями. Но в беседе с Горчаковым канцлер всю вину за “боевую тревогу” сваливал на газеты. Речь его, как всегда, была напористой и грубой:

– При всем моем желании, согласитесь, я не могу быть и редактором. Если нашелся такой газетный идиот, который, воя на луну, тоскует по Парижу, так я не запрещаю – бери паспорт и поезжай в Париж! Наконец, еврей Ротшильд... вы бы знали, какая это свинья! Ради биржевых спекуляций он готов устроить скандал на всю Европу, а виноват... я! – Разлаив газетчиков и банкиров всего мира, Бисмарк “дал жару” своим генералам: – Я не генерал, слава Богу, а значит, не такой осел, как мои генералы. Что Мольтке? Это еще молокосос. Генералы подняли суматоху, словно у них горит ярмарка, но я-то остаюсь спокоен и тверд... Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем мне, рейхсканцлеру, лишние лавры в суповой тарелке? Кроме сосисок и выпивки, мне ничего не надо...

Горчаков костяшками пальцев сухо постукивал по столу:

– Я вам уже говорил и заявляю снова: России нужна сильная Франция, и отныне любой ваш конфликт с Парижем сразу же отзовется на берегах Невы. Молодой человек, – сказал князь (Бисмарку, молодому человеку, исполнилось как раз 60 лет), – не забывайте, что войны возникают от тихонько сказанных слов, которые произносят дипломаты, пороку никогда не нюхавшие.

– Ну, я-то понюхал... При Садовой, при Седане!

– Тем более, – заключил Горчаков, – будьте осторожны...

“Бархатный” канцлер задержался на пороге.

– Кстати, – заметил он вскользь, – я перестал осуждать французов, желающих возвращения Эльзаса и Лотарингии... Говорят, из недр этих провинций вы, немцы, сейчас выгребаете немало сырья для крупновских домен в Эссене... Неужели это правда?

Дверь закрылась. Бисмарк треснул кулаком по столу:

– Ненавижу... этот белый старомодный галстук! Насилие получило отпор, и Бисмарк (великий реалист XIX века) понял, что Россия всегда будет камнем преткновения на путях германской агрессии. Утром кайзер заметил канцлеру:

– У вас нездоровый вид. Вы плохо спали?

– Прекрасно! Я всю ночь дышал лютой ненавистью...

Гнев и ненависть были его двигателями: эти чувства были необходимы канцлеру, как другим нужны любовь и дружба. Горчаков разослал по русским посольствам шифровку: *сохранение мира обеспечено*. Газеты исказили ее, выявив неизбежную суть визита Горчакова в Берлин. “Теперь, — подчеркивали они, — мир обеспечен!” Бисмарк и германская военщина трубили отбой по всей линии фронта. Militarизм получил поражение от дипломатии. Горчаков, по сути дела, отсрочил первую мировую войну, которая началась в 1914 году, а могла начаться и в 1875 году...

Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что Бисмарк совершил непростительную ошибку, спасовав тогда перед российским канцлером. Начни он тогда бойню с Францией и Россией – и Германию миновали бы поражения 1919 и 1945 годов, а “цели, которые ставил перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно...”. “Немцы, – пишут фашистские историки, – были слишком порядочными”. Но в том-то и дело, что князь Горчаков победил, а последствия победы сказались в будущем...

Пушкин в молодости писал Горчакову:

Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к закату своему...
Кому ж из нас под старость День Лицея
Торжествовать придется одному?

Горчаков торжествовал в одиночестве глубокой старости.

Последние годы он провел в Ницце, где снимал четыре крохотные комнатки, а обедать ему носили из трапезной, и старик мудро терпел перегорелый лук, нищету итальянского супа, прогорклое масло. При нем была сиделка, которая под руку водила его, как младенца, на прогулки. Ходили слухи, будто светлейший князь Александр Михайлович Горчаков оставил после себя удивительные мемуары.

– Это вздор! – говорил он заезжим в Ниццу русским людям. – всю жизнь я терпеть не мог процесса писания и лишь наговаривал секретарям, а уж они записывали... ноты, циркуляры, трактаты!

Горчаков умер в марте 1883 года, когда люди, впоследствии приведшие к власти Гитлера, были уже взрослыми: Гинденбургу было тридцать семь лет. А Людендорфу восемнадцать. Бисмарк, мучимый “кошмаром коалиций”, пережил Горчакова на шестнадцать лет. Корону германского императора носил теперь Вильгельм II, и канцлер видел, что сухорукий кайзер затевает мировую бойню... Бисмарк в рейхстаге предостерегал:

– Германия непобедима лишь до тех пор, пока она не трогает русского медведя в его берлоге. Не забывайте, что у нас бьется только одно сердце – Берлин, а русские имеют два сердца – Москву и Петербург... Будем же мудры: побережем кости наших славных померанских гренадеров! А если мировая война все же возникнет, то в конце ее ни один из немцев, отупевших от крови, не будет уже в состоянии понимать, ЗА ЧТО ОН СРАЖАЛСЯ...

Затем последовала отставка – неизбежная, как и война!

Ленин писал, что Бисмарк по-своему, по-юнкерски, сделал прогрессивное историческое дело: “объявление Германии было необходимо... Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно”. Глубоко оскорбленный отставкой, похожей на оплеуху, канцлер удалился в свое имение Фридрихсруэ, где днями поглощал крепкие вина, а по ночам делал себе обильные впрыскивания морфия. Бисмарк почти не спал. Однако голова его оставалась свежей. Он еще силился отсрочить крах империи, им же созданной, и призывал улучшить отношения с Россией, но ему уже не внимали... В канун смерти Бисмарк вспомнил, что полвека назад Горчаков пророчил во Франкфурте: “Топор революций уже стучит в основании социального дерева!” – русский канцлер умел предвидеть, а выражался образно. Бисмарк еще говорил, что Германия без дружбы с Россией погибнет, а вся его политика (*вся!*) была построена исключительно с учетом того, что Россия непобедима, если же теперь немцы решили думать о России иначе, то ему оставалось только одно – умереть!

В июле 1898 года он умер, и не было такой газеты в мире, которая бы не отметила эту смерть “крепчайшего дуба германского леса”. Начался XX век – “воистину железный век”! Надвигалась война, которую философски предчувствовал Фридрих Энгельс, говоривший, что короны цезарей покатаются по столичным мостовым и уже не сыщется охотников их подбирать. Так и случилось: Первая мировая война, развязанная кайзером, вдребезги разбила короны трех главнейших династий мира – Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов...

Ни кайзера, ни фюрера не устраивали слова Бисмарка:

“Даже самый благоприятный исход войны ведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских... Эти последние, даже если их расчленишь международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это – неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей...”

В “Истории дипломатии”, откуда я цитирую эти вещи слова, сказано: “Строки эти отнюдь не свидетельствуют о симпатиях канцлера к России. Они говорят о другом – старый хищник был осторожен и зорек”. Сейчас уже мало кто знает, что в 1900 году в Москве был сооружен памятник “железному” канцлеру. Справедливости ради замечу, что Россия памятника Бисмарку никогда не ставила – его соорудила немецкая колония, а в 1914 году москвичи обвязали его веревками и свергли с пьедестала, как вещь ненужную!

Человек, переставший улыбаться

Время было жертвенное – без сентиментальностей...

Это было время Александра II с его реформами.

Время, когда русский солдат шагнул за Балканы, неся свободу южным славянам, а в глубоким подполье работала “Народная воля” – партия смельчаков, готовивших царевубийство.

...Шеф жандармов Дрентельн дочитал революционную прокламацию и с улыбочкой заметил своим подчиненным:

– А бумага-то у наших нигилистов – плоховата. На дешевенькой печатают. Да и краска у них чем-то пованивает...

Вскоре на имя Дрентельна почта столицы доставила пакет. Шеф жандармов вскрыл его и – обомлел: народовольцы переслали ему очередную прокламацию, но теперь она была оттиснута на веленовой бумаге с золотым обрезом, словно визитная карточка, от нее исходил тончайший аромат дорогих парижских духов.

– Господа, что это значит? – был поражен Дрентельн. – И откуда они могли вызнать, что я хулил их паршивую бумагу?

– Коллежский регистратор, да еще в отставке – это такая мелкая тля, что даже не видать, как она ползет, – примерно в таких унижительных словах Клеточникову вчера отказали от службы в одном весьма солидном департаменте столицы...

Был октябрь 1878 года. Николай Васильевич приехал в Петербург из Пензы, где проживали его родители. Чиновник был тих и робок в поступках, одевался подчеркнуто скромно, а сухой отрывистый кашель выдавал в нем сильно запущенную чахотку. Глядя на этого “мелкотравчатого” чинушу, никогда нельзя было подумать, что он приехал в столицу, готовый покуситься на жизнь царя-реформатора. Клеточников задумал убийство в одиночку, никого не желая посвящать в свои планы, дабы не было лишних жертв.

Один современник позже вспоминал, что в Клеточникове было много “детски чистого и милого... С первого знакомства становилось ясно, что видишь кроткого и доброго человека, который не знает зла и питает к людям одни братские чувства”. Такое впечатление он производил на людей! Однажды, будучи в гостях у приятеля, Клеточников познакомился с молодым человеком, назвавшим себя Петром Ивановичем.

– А по какому ведомству служите? – спросил он.

Николай Васильевич рассказал, что по слабости здоровья университетского курса не кончил, долго прозябал в канцелярии ялтинского суда, потом служил кассиром в Симферополе, где получал годовое жалованье до тысячи рублей...

– О, так вы человек, я вижу, не бедный?

– Пока не жалуясь, – согласился Клеточников. – Да и запросов у меня очень мало. На рысаках не езжу, а нанимаю “ванек”, в ресторанах не обедаю, а кормлюсь по кухмистерским. Но без службы вот уже никак не могу обойтись.

– Привычка сидеть за чиновным столом?

– Возможно, и привычка. Называйте как вам угодно...

Клеточников не знал, что перед ним не “Петр Иванович”, а талантливейший конспиратор – Александр Михайлов, который вошел в историю народовольчества под кличкой *Дворник*, ибо следил за чистотою рядов партии, страхуя ее от провалов и провокаций. Безошибочным чутьем подпольщика Михайлов сразу определил в Клеточникове нужного для партии человека и, как следует “прощупав” его взгляды, однажды напрямик заявил, что по своим убеждениям является социалистом, служит делу грядущей революции.

– И вы, Николай Васильевич, ежели разделяете со мною идеи свободы, то как человек вне всяких подозрений со стороны правительства можете оказать нам большую услугу.

– Чем же я могу быть полезен?

– Для начала, – сказал ему Дворник, знавший Петербург как свои пять пальцев, – вам надо снять комнату в том доме, что расположен на углу Невского и Надеждинской улицы.

– А зачем это? – спросил Клеточников.

– Вы должны понравиться вдове полковника Кутузова...

В доме Яковлева, на углу Невского и Надеждинской (ныне улица Маяковского), проживали секретные агенты III отделения. В этом же доме издавна селилась госпожа Анна Кутузова, сдававшая внаем меблированные комнаты для постояльцев.

Эта респектабельная дама некогда знавала лучшие дни!

В молодости она была красавицей и, обольщая иностранных дипломатов, ловко выкрадывала у них секретные документы, отчего и пользовалась особым доверием корпуса жандармов. Потеряв былую красоту, Кутузова не потеряла интереса к авантюрной жизни. Считаясь по документам акушеркой, она проживала на солидный пенсион полковницы, а в своей квартире устроила нечто вроде шпионского салона, куда и сходились на огонек ее закадычные друзья – тайные агенты III отделения... Клеточников снял для себя одну из комнат ее квартиры и сразу же покорила сердце стареющей львицы тонким умением раскладывать трудный пасьянс “Побег Наполеона с острова Эльба”. За чашкою кофе или перебирая картишки, мадам Кутузова доверительно исповедовалась в своем бурном прошлом.

– А герцог Монтебелло, посол Франции... Боже, как он был мил, ах, ну до чего же мил! – восклицала она. – Помню, у него в доме пропал золотой сервиз. Ах, сколько шуму тогда было...

– И нашли?

– Что?

– Сервиз-то.

– Конечно! Маркиз даже ездил благодарить государя за совершенство русской полиции. “Благодарю, – сказал он царю, – был у меня один сервиз, теперь стало два, ибо один нашла ваша полиция, а второй обнаружился вчера в кухонном буфете, куда давно не заглядывали...”

Квартирант выслушал ее и, печально вздохнув, не раз жаловался, что никак не может подыскать службу в столице.

– Все места заняты, а я из провинции... Мне уж не к столу присесть, а хотя бы у подоконника приткнуться!

Кутузова призналась по секрету, что она и по сие время иногда услуживает жандармам, и сама предложила:

– А вот и вы! Разве не согласились бы служить в Третьем отделении? Господин Кириллов как раз начальник “агентурной экспедиции”. Хотите, я замолвлю за вас словечко?

– Отчего же и нет! – обрадовался Николай Васильевич...

Колесо роковой фортуны совершило оборот: 25 января 1879 года Кириллов предложил Клеточникову место... *шпиона*.

— По рублю в сутки, – хмуро посулил он. – Служба у нас, сами знаете, беспокойная. Подметок жалеть не приходится. Иногда и по мордасам влупят за здорово живешь – обижаться не советую. Зато пенсион у нас хороший. Старость обеспечена... Согласны?

– Премного вам благодарны, – отвечал Клеточников.

Но шпион из него получился прескверный: он “не сумел” выследить ни одного подпольщика, не раздобыл ни одного адреса конспиративной квартиры. А господин Кириллов на него нажимал:

– За што мы тебе, очкарику, по рублю в день платим? Или ты думаешь, мы тебя наняли ради прогулок на свежем воздухе?..

Николай Васильевич жаловался Михайлову:

– Надо же понять Кириллова – он прав! Если я не выведу хоть малую толику о нашей партии, меня просто возьмут за шкуру и выкинут вон... это у них просто! Не могли бы вы сами открыть мне что-либо такое, весьма незначительное для нашего дела, чтобы я мог, простите, “донести”?

По совету Михайлова, он вскоре подал начальству прошение освободить его от агентурной службы по “врожденной близорукости”, что было правдой, – Николай Васильевич носил очки. Кроме того, Клеточников с надрывом признался Кириллову:

– Поверьте, все эти поганые демократии так отвратительны, я не могу даже серьезно рассуждать о них... Как же мне привлечь доверие нигилистов, если я в каждого из них готов плюнуть!

В марте 1879 года Клеточникова перевели в переписчики при канцелярии агентурного отдела; теперь партия “Народной воли” получила доступ к тайникам святая святых III отделения.

– Как это ни странно, Николай Васильевич, – говорил ему Михайлов, – но я прошу вас усердствовать на этой службе. Старайтесь служить так, чтобы к вам была применима старинная чиновная поговорка: “крест в петлицу и геморрой в поясницу”...

Обладая каллиграфическим почерком (что особенно ценилось в те времена), Клеточников раньше всех являлся на службу и позже всех покидал ее. А потому начальство сочло его за человека “не только не подозрительного для выдачи каких-либо тайн, но, напротив, даже вполне пригодного для их хранения”.

Поздний вечер. Пустеют мрачные кабинеты. За окном кружится мягкий сырой снежок. Одиноким чиновник, как верная канцелярская крыса, съевшая на своем веку не один уже казенный гроссбух, строчит донесение о планах проведения обысков на завтрашний день.

– Все еще трудитесь? – намекает ему Клеточников.

– Да разве тут кончишь, – зевает чинуша. – Обещал жене, что приду пораньше. Сегодня она морковный пирог испекла. Да и сына давно обещал высечь, все времени не хватает... А вот погибаю тут! От пирога одни корки останутся, это уже как всегда, а любезный сын возрадуется, что уклонился от посеканий.

– Ну, идите домой, дорогуша. Я за вас допишу.

– Вот спасибо, вот спасибо. Золотой вы человек...

В полном одиночестве Николай Васильевич открывал секретные сейфы, листал бумаги полицейских досье. Ага! Платный агент Рейнштейн (по прозвищу Николка) проник в рабочие кружки москвичей, работает вне подозрений. Ну, что ж, завтра об этом узнает Михайлов, а потом в номере московской гостиницы полиция обнаружит своего агента мертвым... А вот на лицах сослуживцев заметна радость. Клеточников настороже: что бы это значило? Ага! Кто-то из арестованных проболтался на допросе, выдав адрес подпольной типографии. Полиция совершает облаву, но в помещении – ни станков, ни людей, ни клочка бумажки (дворник партии всегда подметает чисто).

Ретивое усердие Клеточникова заметили, и он удостоился доступа к бумагам *сугубо* секретным. В апреле 1880 года он вдел в петлицу своего фрака орден Станислава за “беспорочную” службу, затем получил и прибавку к жалованью (кстати, все свое жалованье он через Михайлова отдавал на дело грядущей революции). А еще через месяц его повысили в должности и перевели в *особо* секретную часть департамента государственной полиции, где начальники стали приглашать Клеточникова на свои вечеринки...

Вера Фигнер впоследствии рассказывала:

– Николай Васильевич Клеточников был для целостности нашей организации человек совершенно неоценимый: в течение двух лет он стойко отражал все удары, направленные правительством против нас, и был охраной нашей безопасности.

Умный и тонкий наблюдатель, Клеточников обладал и удивительной памятью. Ежевечерне уносил из департамента в своей голове обширную поживу имен, цифр и адресов. Встречаясь с Михайловым, он наизусть диктовал ему детали погромных планов жандармерии, ни разу не ошибаясь в фамилиях, названиях улиц и номерах домов. Особенно тщательно изучал Клеточников сыщиков, живо обрисовывая на словах их внешний вид, их привычки и даже походку, чтобы партия всех агентов знала, так сказать, в лицо.

Наконец настал такой момент, когда царская полиция, призванная для борьбы с народолюбцами, *вдруг сама оказалась в руках народолюбцев*. И совсем неожиданно Александр II получил из-за границы анонимное письмо, в котором его предупреждали, что в III отделении завелся ловкий и опасный враг, для которого не существует никаких тайн. Император переправил донос шефу жандармов с лаконичным приказом: “Найти изменника и *навсегда* запереть его в крепости”. Клеточникова спасло одно обстоятельство: доносов скопилось уже такое множество, что III отделение перестало придавать им значение, и письмо с резолюцией императора потонуло в мутном потоке всяческой лжи...

Но работать становилось труднее. Один из товарищей Клеточникова писал, что “его жизнь была жизнью мученика. Глубочайшая тайна, какою было необходимо окутать даже его существование, совершенно изолировала его от людей единомыслящих, удаляла его от всего честного и достойного общества, за исключением двух-трех человек, которые не могли его компрометировать, по мнению Михайлова... Итак, почти всегда он оставался среди людей, которых он презирал и ненавидел, но с которыми он вынужден был вечно играть ненавистную ему роль их сообщника и единомышленника. Это положение производило самое ужасное впечатление на Клеточникова – большой пессимист вообще, с каждым днем он становился таковым все больше и больше... Он даже состарился под тяжестью печального знакомства с извращением человеческой природы. *Он более никогда не улыбался!*” Таким и запомнили Клеточникова многие – человеком, никогда не улыбавшимся. В самом деле, незавидная выпала ему судьба...

28 ноября 1880 года “Народную волю” постиг тяжкий удар – был арестован пестун и хранитель партии А. Д. Михайлов.

Михайлов самолично исполнял обязанность по сбережению Клеточникова, а накануне своего ареста – ради конспирации! – он даже распустил слух, будто Клеточникова давно нет в Петербурге: куда-то выехал, мол, и не вернулся...

Николай Васильевич был потрясен арестом Михайлова.

Однако продолжал передавать нужные сведения народолюбцу Саше Баранникову, которого 24 января 1881 года тоже арестовали. И вот тут боевой конь удачи споткнулся! Баранникова арестовала не жандармерия, а градоначальство – именно поэтому Клеточников ничего не знал об его аресте. Такие роковые случайности бывали, и, видимо, их не всегда можно избежать... На следующий день, 25 января, Николай Васильевич спокойно отправился на явочную квартиру для встречи с Баранниковым; всегда осторожный, он еще с улицы заметил знак безопасности явки, выставленной в окне, засады нет, а хозяин дома и поджидает его. Поднявшись по лестнице, Клеточников позвонил, как было условлено.

Дверь ему открыла... полиция!

Можно представить удивление Клеточникова, но трудно вообразить весь ужас сыщиков, узнавших в конспираторе видного чиновника департамента тайной полиции. Отговориться глупой случайностью было уже нельзя; тем более что на другой же день почта доставила по адресу Клеточникова письмо, которое перехватили жандармы. Письмо было сразу подшито

к делу народовольцев, ибо почерк автора этого письма сразу напомнил почерк Андрея Желябова...

Ну вот, читатель, и сомкнулось кольцо.

Николая Васильевича судили по “Процессу 20-ти”, когда Александр II уже был убит.

– До тридцати лет, – заявил на суде Клеточников, – я жил в глухой провинции среди чиновников, занимавшихся дрызгами и попойками. В этой бессодержательной жизни я чувствовал неудовлетворенность. Мне хотелось чего-то хорошего и светлого. Наконец я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень чиновного общества не был выше провинциального...

Клеточников сказал о своих коллегах-жандармах такую жесткую правду, которую, конечно же, они ему не могли простить!

– В столице я обнаружил, что есть одно отвратительное учреждение, которое, развращая людей, заглушает все лучшие качества человеческой природы и вызывает к жизни все ее пошлые и темные черты. Таким учреждением и было Третье отделение! Вот тогда, господа судьи, я решился проникнуть в это мерзкое заведение, дабы парализовать его слепую волю...

Здесь председательствующий прервал речь Клеточникова.

– Кому же все-таки вы служили? – спросил он со злобной иронией. – Неужели этому отвратительному учреждению?

– Нет, – отвечал Клеточников, – я служил обществу.

– Какому обществу?

– Я служил русскому обществу...

– Но в России нет и не может быть “общества”.

– Тогда я служил просто народу, – ответил Клеточников. – Да, пусть будет так! Я служил благомыслящей России.

– Сколько же вы брали от этого мерзкого учреждения?

– Много. Мне платили много.

– А сколько вам приплачивали ваши друзья-нигилисты?

Клеточников даже удивился:

– Ни копеечки!

Виселицу ему заменили пожизненной каторгой.

В казематах Алексеевского рavelина III отделение отомстило ему за все. Жандармы знали, что Клеточников неизлечимо болен чахоткой, и его нарочно поместили в самую промозглую камеру, лишив даже прогулок.

Николай Васильевич объявил голодовку. Но, отказываясь от пищи, он выставил требование – чтобы облегчили не его участь, а участь его товарищей по партии: Н. А. Морозова, М. Ф. Фроленко, М. Н. Тригоны и других. Смотритель рavelина Соколов прямо так и сказал в лицо Клеточникову:

– А как хочешь! Можешь жрать, а можешь идохнуть...

Соколов раньше был знаком с Клеточниковым по совместной службе в III отделении, и это еще больше обостряло его злобу.

Николай Васильевич медленно угасал.

На седьмой день голодовки, когда он уже не мог двигаться, Соколов вдруг приказал накормить его с применением силы. Клеточникова связали, двумя шпателями раздвинули ему зубы и пихали в рот как раз то, чего после длительного голодания человеку никак нельзя употреблять в пищу. Это были щи из кислой капусты и грубая, плохо проваренная ячневая каша.

В результате жестокого насилия и полного истощения Николай Васильевич через три дня умер: он умер не от чахотки – скончался в диких муках от воспаления кишечного тракта.

Иначе говоря, его сознательно умертвили.

Это случилось 13 июля 1883 года.

Вольное общество китоловов

Еще в юности я приобрел увесистой том “Год на Севере” замечательного писателя С. В. Максимова, которого у нас больше знают по книжке о мудрости народных изречений. Увлеченный прошлым русского Севера, я и не подозревал, что эта книга отчасти вошла в историю революционного движения на царском флоте.

О китах я скажу потом. Но сначала вспомним адмирала Николая Карловича Краббе, за которым глобальных походов не числилось, но он первым прошел по Амударье, положив начало когда-то славной Аральской флотилии. Старые адмиралы, потрепанные штормами всех широт мира, терпеть его не могли, иначе как “щенком” или “мальчишкой” не называя:

– Да где он плавал-то? На Арале да по Каспию? Выходит, из лужи в корыто перелез, там и барахтался...

Управляя морским министерством, Краббе создавал для России паровой броненосный флот – в этом его главная заслуга. Литературоведы знают Краббе с иной стороны: будучи приятелем Н. А. Некрасова, он любил охотиться и, пользуясь своим положением при дворе, помогал поэту избегать всяческих трудностей с изданием “Современника”. Искусствоведам Краббе известен в роли коллекционера, собравшего галерею картин и скульптур легкомысленного жанра. Наконец, об этом адмирале существует еще одно мнение – как о ловком царедворце, который потешал царскую семью циничным остроумием и беспардонными выходками эксцентричного порядка. Ему, как шуту, прощалось многое, и Краббе, уроженец Кавказа, иногда увеселял царя грузинской лезгинкой или армянскими “серенадами”:

Если хочешь быть богат,
Лучше кушай виноград.
Если хочешь быть счастлив,
Кушай много чернослив...

Краббе имел привычку носить мундир нараспашку, галстук и воротнички с манжетами мешали ему. Соответственно, обнажив волосатую грудь, он и двери держал настежь – в кабинет к нему входили смело, ибо в приемной Адмиралтейства не было даже адъютантов. В пустой холостяцкой квартире на окраине Васильевского острова не имелось даже люстры, хотя с потолка гостиной и свисал крюк.

– На этом крюке меня и повесят, – говорил Краббе...

Именно при Николае Карловиче Краббе и случилась история с созданием “Вольного общества китоловов”.

Морской корпус – на берегу Невы; возле него меланхолично скрестив руки, давно стоит задумчивый Крузенштерн... 1871 год отмечен нарастанием идей “народовольчества”; однако народники потерпели неудачу, пытаясь привлечь к своему движению офицеров армии и флота, – не все верили в успех их дела! И лишь немногие тогда убедились в том, что революционная ситуация в России – не выдумка фантазеров, а подлинная назревшая сущность, потому и примкнули к народовольцам...

Конспирация? Ею пренебрегали. А полицию не удивляло, если однажды вечером из какой-либо частной квартиры вываливалась толпа молодежи, продолжая бурную дискуссию на улицах. Конечно, в таких условиях вести революционную пропаганду было нетрудно и даже слишком заманчиво – Морской корпус такой пропаганды не знал! А начальство не осуждало в гардемаринах неистребимую лихость, будто бы исключавшую интерес к вопросам политики. Так и было: в корпусе, например, процветало общество, которое возглавлял гардемарин из

графов – Диего Дюбрэйль-Эшаппар I. Склонные к разным дурачествам гардемарины льнули к нему. Дюбрэйль-Эшаппар внушал своим адептам: учиться кое-как, лишь бы не выгнали, книг не читать, по театрам не шляться, умников презирать. В эту среду затесался и кадет Хлопов, юноша воспитанный и образованный, за что граф открыто именовал его дураком, а товарищи третировали... Но это еще не начало истории!

Осенью 1871 года все пять камер корпусного карцера были заполнены “самовольщиками”: кто сбежал в кондитерскую, кто по маме соскучился, кому просто погулять захотелось. Двери камер выходили в общую залу, где сидел сторож, за полтинник согласный отворить двери. Здесь, в этой зале, арестованные и собирались по вечерам. Однажды кадет Эспер Серебряков пожаловался гардемарину Володе Луцкому, что ему совсем нечего читать, а сидеть еще долго.

Луцкий отвечал кадету с пренебрежением:

– Боюсь, мое чтение не подойдет...

Но книгу все-таки дал. Это был Ф. Лассаль. Затем последовал Чернышевский, номера герценовского “Колокола”... Луцкий спрашивал:

– Ну как? Осилит?

Скоро в корпусе образовался кружок кадетов и гардемарин, которые собирались тайком от начальства, обсуждали прочитанное, стремились к действию. Между прочим, среди изученных ими книг оказалась и книга С. В. Максимова “Год на Севере”. Этот край был тогда известен россиянам в самой ничтожной степени... Зашла речь и о китах! Им в ту пору придавали очень большое значение, ибо Норвегия была для России наглядным примером того, как может разбогатеть страна на одном лишь китовом промысле. С. В. Максимов писал о неудачах, постигших русских в освоении китобойного промысла. А в Соляном Городке столичная профессура читала для рабочих популярные лекции, не забывая упомянуть о китовом мясе, пригодном для насыщения, что очень зло и метко высмеяли в стихах демократы-искровцы:

Вы судите сами —
Знать на кой нам лешего
Про кита с усами,
Если ты не ешь его?..
Лучше помогли бы, —
Вот, что нас измучило! —
Чтоб от тухлой рыбы
Животы не пучило...

Из самообразовательного кружок постепенно превращался в революционный, и Владимир Луцкий этот момент уловил.

– Господа, – спросил он, – не пора ли всем нам принять участие в тайном обществе для свержения самодержавия?

Наверное, не пристало ему, отроку, ставить такой вопрос перед кадетами, еще мальчишками! Но бурное время торопило молодежь, а все тайное заманивало романтикой будущей революции. Тон речей задавали самые начитанные гардемарины – Володя Миклухо-Маклай, брат известного путешественника, и Коля Суханов, сын рижского доктора.

Подростки мечтали об университетском образовании, желая посвятить свои жизни служению народу.

Николай Салтыков первым вышел из корпуса и, как тогда говорилось, “ушел в народ”, обещал кружку помочь нелегальной литературой. Салтыков слово сдержал, но действовал он слишком необдуманно. К дому родителей кадета Пети Серебрянникова подъехал зимою на двух санях, доверху загруженных ящиками.

– Ребята! А это вам, – крикнул он товарищам...

Полиция уже науськала дворников, чтобы они приглядывали за жильцами. Но тут в полном бессилии перед ворохом многопудовых ящиков Петя Серебрянников развел руками:

– Самим не стащить! Позовем дворника...

Потом эту литературу гардемаринки развозили по адресам революционных кружков, которые и сами посещали. Много позже, став зрелыми людьми, они осуждали то непростибельное легкомыслие, с каким народовольцы допускали их до собраний, где все было на виду, каждый говорил, что хотел, а среди присутствующих сидели и явно посторонние люди с улицы. Где гарантии, что они не были агентами всемогущего “Третьего отделения”?

А между собою гардемаринки уже спорили:

– Какой быть революции – мирной или буйной?

– Никогда не бывать ей мирной, – горячился Суханов. – Бомба – вот наше право! Бомба – вот наше убеждение...

Многие уже подражали Рахметову: приучали себя к голоду, а спали на жестком ложе. Вскоре гардемаринки завели связи с кружками других училищ – пехотных и артиллерийских. Революция грезилась юношам в ореоле баррикадных боев, а победа народа должна была завершиться апофеозом свободы и всеобщего благополучия. Но тут в кружок проник некий Хлопов и настолько втерся в доверие, что среди молодежи не раз возникали споры:

– Не допустить ли его до наших секретов?

Он же, как потом выяснилось, сообщал все, что мог, своему родственнику Левашову, который являлся помощником шефа жандармов графа Шувалова.

Настал 1872 год... В один из вьюжных февральских вечеров, когда Эспер Серебряков уже лежал в постели, его навестил Петя Серебрянников:

– Вставай! Луцкого жандармы арестовали. И еще кого-то...

– За что? – Этот вопрос взбудоражил всех.

– А правда ли, что Луцкий на дуэли дрался? – гадали.

– Господа, он оскорбил офицера на Невском...

Но лучше всех был информирован граф Дюбрэйль-Эшаппар:

– Бросьте выдумки! Просто среди нас завелась банда террористов... Теперь-то они тихие.

Ну что? – спросил он кружковцев. – Бойтесь?

Хлопов сам же и подошел к Эсперу Серебрякову.

– Это я выдал вашу компанию! – честно сознался он. – Но едино лишь с той благородной целью, дабы спасти вас от заразы нигилизма...

Теперь адмиралу Краббе предстояло задуматься... Его окружали адмиралы вельми ветхие годами, которые не мыслили службы без линьков и плетей, а Краббе был сторонником отмены телесных наказаний на флоте. Он знал, что врагов у него много, а при той безалаберной жизни, какую он вел, к нему всегда будет легко придрататься. Услышав об арестах в Морском корпусе, он сразу сообразил, что карьера его стала потрескивать, как борта клипера при неудачном повороте сильного ветра. Вчера, черт побери, государь уехал на станцию Лесино поднимать из берлоги медведя, а его, Краббе, с собой уже не пригласил... Плохо! Для начала адмирал устроил нагоняй начальству корпуса, потом сказал, что желает видеть всех арестованных у себя. Его спросили:

– Прикажите доставить их в Адмиралтейство?

– Много им чести! Тащите ко мне домой...

Эспер Серебряков после революции вспоминал: “Вот к этому чудачку нас и повезли поодиночке. Каждого из нас Краббе встречал ласково, гладил по голове, приговаривал: “Ты, голубчик, не бойся, я в обиду никого не дам...” После чего сажал с собою за стол, подавался чай с печеньем. Николай Карлович оказался хорошим психологом: его чай с печеньем и пти-

фурами успокоил растерянных подростков. Однако лицемерие ржавого крюка, нависавшего над чайным столом, не улучшило их настроения.

– Пустое! – отмахнулся Краббе. – Вешать на этом крючке будут не вас, а... меня. И вы должны быть умницами. Не болтайте лишнего, прошу вас сердечно.

Затем входили шеф жандармов с Левашовым, начинался допрос. “Но Краббе зорко следил, чтобы они не сбивали допрашиваемого, и если Шувалов или Левашов задавали вопрос, который бы мог повести к неудачному ответу, Николай Карлович сразу же вмешивался: “Я имею полномочия самого государя-императора, и я не допущу, чтобы вы, господа, губили моих мальчиков!” Спасая допрашиваемых, Краббе спасал и свою карьеру. Он мастерски вставлял в диалог побочные вопросы, невольно порождаявшие невообразимую путаницу в дознании. И как ни бились жандармы, им не удалось сложить точное заключение, что это за кружок. Революционное тайное общество? Или детская игра в казаки-разбойники на романтической морской подкладке? Николай Карлович уверял жандармов:

– Помилуйте! В Морском ведомстве крамолы не водится...

Левашов, сбитый с толку, в сердцах даже воскликнул:

– Да ведь Хлопов-то совсем иное показывал!

– Осмелюсь заметить, – вежливо парировал Краббе, – что ему следовало бы пить поменьше. Иначе я при выпуске из корпуса забабашаю его куда-нибудь на Амударью или, еще лучше, в Петропавловск-на-Камчатке.

Арестованных он сопровождал дельным напутствием:

– Старайтесь найти себе оправдание... Думайте!

Намек был сделан. Николай Суханов вспомнил давние неудачи России, постигшие ее в освоении китобойного промысла, и от одного гардемарина к другому передавалась его мысль: “Год на Севере” писателя Максимова... Китов бьют все кому не лень, а мы, русофилы, сидим у моря и ждем, когда кита на берег выбросит.

Стыдно сказать, господа! Даже эластичный китовый ус для шитья дамских корсетов – и тот покупаем у иностранцев... Итак, отныне мы все – китоловы”.

Эврика! Киты пришли Краббе по вкусу, и при свидании с императором адмирал развил идею кружковцев.

– Ах, государь! Все это такая чепуха, – сказал он. – Никакой политики, а лишь “Вольное общество китоловов”. Начитались мальчики книжек и решили после окончания корпуса образовать промышленную артель, дабы на общих паях развивать на Мурмане китоловный промысел.

– Не совсем так, – вмешался граф Шувалов. – Что-то я не помню, где и когда Чернышевский с Герценом пеклись о китовых усах или вытопке китового жира.

– А вы читайте Максимова! – отвечал Краббе. – У него написано, как ваш незабвенный пращур, граф Петр Шувалов, еще при императрице Елизавете пытался нажить миллионы от продажи народу китового сала, и ни черта-с у него не получилось!

Александр II внимательно выслушал их полемику.

– Краббе, подай мне перо, – сказал он.

На докладной графа Шувалова он поставил свою резолюцию: “Забыть и простить”. Отбросив перо, царь похвастал:

– Вчера под Любанью егеря мою медведицу обложили. Может, Краббе, составишь компанию мне?

Шувалова же на охоту он не пригласил:

– Любите вы, граф, из мухи слона делать... А чтобы сразу покончить с дрянью, я скажу, что граф Дюбрэйль-Эшаппар кончил карьеру тем, что в царствование Николая II он стал его верным собутыльником. А как сложилась судьба Хлопова – не знаю...

На склоне лет Краббе захотелось семейного счастья, и в его одичалом доме защebetала молоденькая актриса. Нещадно обворовывая адмирала, она “за взятки выводила в чины чиновников из писарей, посылаемых к ней на кухню для поручений. А в итоге – паралич и долги!” Николай Карлович опустил, вместо подписи на приказах по флоту ставил кабалистические знаки. Наконец даже от резолюций отказался, а согласие давал кивком головы. Очевидец описывает жалкую картину разложения когда-то бесшабашного весельчака: “Старик выглядел виновато, коснеющим языком пытался уверить себя и других, что у него только геморрой...” На пустой крюк актриса повесила богатую хрустальную люстру. Краббе зажмурился от ее сияния – и умер!

Первый политический кружок на флоте среди будущих офицеров эпохи Александра II так и остался в истории под названием “Общество китоловов”. Со временем мальчики выросли. Стали мичманами. Потом лейтенантами. Позже при дворе уразумели, что “китоловы” не такие уж наивные мечтатели, какими казались, и жандармы снова завели на них дело. Многие из “китоловов” были наказаны службою в отдаленных краях империи, иные же до конца своих дней находились под негласным надзором полиции.

Кого мы знаем из них? Кто остался в легендах?

Петр Осипович Серебрянников. В битве при Цусиме он, уже капитан 1-го ранга, командовал броненосцем “Бородино”. Его объятый пламенем корабль сражался до последней минуты с небывалым ожесточением, а из всего экипажа броненосца уцелел лишь один матрос...

Владимир Николаевич Миклухо-Маклай. В той же битве он принял смерть, стоя на мостике броненосца “Адмирал Ушаков”. Его поврежденный корабль отстал от эскадры, и на рассвете, окруженный противником, Миклухо-Маклай принял неравный бой...

Николай Евгеньевич Суханов. Погиб еще раньше. Минный офицер и лейтенант. Арестован при разгроме партии “Народная воля”. Обаятельный человек. Задушевный товарищ и великолепный оратор, друг Желябова, Перовской, Веры Фигнер и Кибальчича. Участвовал в подготовке убийства императора Александра II. 19 марта 1882 года Суханов был расстрелян в Кронштадте. Его личные вещи уничтожили, а матери, жившей в Риге, жандармы вернули только карманные часы...

Генерал на белом коне

В. Н. Масальский, доцент по кафедре истории Калининградского университета, сообщил мне, что у него давно закончена работа о генерале Скобелеве: “Несчастье состоит в том, что я не могу найти для нее издателя: везде получал отказ. Причина – Скобелев был одним из завоевателей Средней Азии, вообще очень сложен и противоречив. О нем хранится молчание на протяжении многих лет. Грандиозный памятник, воздвигнутый ему в Москве, уничтожен. Это, наверное, еще один мотив умолчания, ибо стыдно вспоминать о таком “подвиге”... Между тем присоединение Ср. Азии к России было делом прогрессивным!”

В этом, кстати, никто не сомневается. Наконец, если бы Россия не ввела войска в оазисы и кишлаки Средней Азии и не нашла бы опоры на Кушке, она бы имела границы с колониями Англии не где-нибудь, а на окраинах Оренбурга. Политические и экономические мотивы присоединения Средней Азии к России я подробно изложил в своем романе “Битва железных канцлеров”, и никто из историков не возражал мне.

Честно говоря, я совсем не понимаю, чем Скобелев, умерший за 37 лет до революции, мог провиниться перед потомками. Но отношение к Скобелеву уцелело среди осторожных и перестраховщиков, которые украдкой говорят писателям: “Знаете, о Скобелеве лучше бы не писать...”

Нет, будем писать о нем, ибо его имя принадлежит вам, как имена Шереметева, Салтыкова, Суворова и Кутузова...

Отгремела освободительная война на Балканах, армия разошлась по домам.

Инвалиды делались сторожами, банщиками, нищими...

Скобелев сказал своему адъютанту Дукмасову:

– Чтобы не вертопрашить напрасно и пожалеть здоровье мое, Петя, надобно бы жениться.

В жены выберу себе обязательно учительницу из провинции. Тихую, умную и скромную...

Летом 1874 года Михаила Дмитриевича назначили командиром 4-го армейского корпуса, расквартированного в Минске: отъезжая в Белоруссию, он размышлял о причинах этого назначения: “Всю жизнь не вылезал из рукопашных свалок, а теперь... Справлюсь ли? Ведь я привык расходовать войска, а ныне предстоит их беречь как зеницу ока. Но я понимаю, почему Петербург решил упрятать меня в минское захолустье”.

Еще бы не понять! На станциях публика встречала Скобелева овациями, мужики и бабы кланялись ему в пояс, барышни забрасывали цветами, конечно, такая слава мозолила глаза не только царю, но и другим генералам. На вокзале Минска оркестр грянул бравурный марш, почетный караул четко и непреклонно отбил ладонями по прикладам ружей, салютуя.

– Здорово, молодцы! – приветствовал их Скобелев, помахивая перчаткой. – Надеюсь, мы с вами поладим...

На новом месте службы он, как всегда, обложился горами книг. Скобелев был патологически жаден до наук, а в изучении их терпелив, словно гимназист, желающий выйти в жизнь с золотой медалью. Солдаты любили его, вникавшего в их несложный быт, он разрешал им на маневрах ходить босиком, чтобы поберечь ноги, никогда не гнушался спрашивать офицеров:

– Как обедали сегодня солдаты? С аппетитом ли?

– Простите, не спрашивал.

– А тут и спрашивать не надо. Офицер обязан знать, как ели его солдаты. Может, их давно от казенной бурды воротит, а вы, обедая в ресторане, голодного не разумеете...

Дукмасов заметил, что Скобелев, поглядывая в окно штаба, часто провожает глазами строгую девушку, выходящую из женской гимназии. Адъютанту велел узнать, кто такая?

– Екатерина Александровна Головкина, – вскоре доложил Дукмасов. – Учительница, как вы и хотели. Живет бедно, одним скудным жалованьем. Ни в каких пашнях не замечена...

Скобелев нагнал барышню на улице, и Головкина, стыдясь, сжала руку в кулачок, чтобы скрыть штопаную перчатку.

– Екатерина Александровна, – заявил Скобелев, – не будем откладывать дела в долгий ящик: вы должны стать моей женою.

– Вы... с ума сошли!

– Так все говорят, когда я начинаю новую боевую кампанию.

– Я буду жаловаться... городского позову.

– А хоть самому царю жалуйтесь, у него в кабинете столько доносов на меня лежит, что лишний не помешает...

Когда знакомство с девушкой перешло в дружбу, а затем появилось и сердечное чувство, Головкина сказала:

– Непутевый вы человек! Не скрою, мне весьма лестно предложение столь знаменитого человека, как вы. Но я... боюсь.

– Чего боитесь?

– Вашей славы... Вы к ней уже привыкли, а мне быть женою такого полководца страшно и опасно. Давайте подождем.

– Опять в долгий ящик? – возмутился Скобелев...

Вскоре его внимание обратилось к пустыням Туркмении, где отряд генерала Ломакина пытался овладеть Ахал-Текинским оазисом, чтобы пробиться к Мерву и Ашхабаду раньше, нежели их захватят англичане со стороны Индии, Афганистана или Персии. Снабжение отряда шло из Баку – морем – до Красноводска, откуда войска растворялись в безводном пекле. Отступление Ломакина было воспринято в Петербурге крайне болезненно, как позорное для боевого престижа России, тем более что 30 сентября 1879 года англичане захватили Кабул!

– Долго они там не удержатся, – рассуждал Скобелев. – Но и наша неудача должна быть исправлена, дабы оградить свои рубежи. Неужели так неприступна крепость Геок-Тепе?..

Он не удивился, когда его срочно вызвали в Петербург; в столице Скобелев сразу наве­сти­л книжный магазин Вольфа:

– Маврикий Осипович, мне нужна литература по Средней Азии, подберите, пожалуйста, все, что у вас имеется на складах.

– На английском? Немецком? Французском?

– На любых языках, не исключая и русского...

Выходя из магазина, Скобелев столкнулся с приятелем по войне, корреспондентом Василием Ивановичем Немировичем-Данченко.

– Миша! Каким ветром тебя сюда занесло?

– Ах, Вася, – отвечал Скобелев, показывая пачку книг. – По их корешкам догадаешься, что меня ныне волнует...

Александр II назначил ему время аудиенции.

– Сообразили, зачем я вызвал вас из Минска?

– Чтобы послать на штурм Геок-Тепе.

– Рано! – ответил император. – Там еще не все готово, а наша техника годится на свалку. Когда умер генерал Лазарев, то при отдавании салюта пушечные лафеты развалились. Вызвал я вас по иному поводу: поедете на маневры германской армии.

Скобелев не скрыл удивления: почему в Потсдам посылают его, не раз выражавшего гер­mano­фобские настроения, ибо в растущей мощи Германии он давно подозревает готовность к агрессии на Востоке. Император, напротив, был германофилом.

– Вы не любите моего друга кайзера, как не любите и его бряцание оружием, а потому лучше других наблюдателей сможете критически оценить достоинства немецкой армии.

Михаил Дмитриевич подумал и ответил:

– Однако мой отчет о плюсах и минусах германской военщины вряд ли окажется приятен для вашего величества.

– Приятного от вас и не жду, – хмуро отвечал царь.

В мемуарах Вильгельма II я не обнаружил оценки визита Скобелева, но мне известны слова, сказанные ему кайзером:

– Вы проанализировали нас до слепой кишки. Вам я показал лишь два моих корпуса, но передайте государю, что вся армия Германии способна действовать столь же превосходно...

В сущности, немецкие генералы смотрели на Скобелева, как на эвентуального противника, и, пока он присматривался к ним, они исподтишка изучали его. Нахальнее всех оказался принц Фридрих-Карл, фамильярно хлопавший Скобелева по спине:

– Любезный друг, я умолчу о том, что нужно великой Германии, но Австрия давно нуждается в греческих Салониках...

Скобелев вернулся на родину в угнетенном настроении. Все увиденное на маневрах в Германии утвердило его в мысли, что война с немцами неизбежна. До поздней осени он трудился над составлением отчета, предупреждая правительство, что никакое “шапкозакидательство” недопустимо. “Сознаюсь, я поражен разумной связью между командными кадрами всех родов оружия. Войска приучены быстро решать, быстро приводить решения в исполнение. Едва ли возникнет случай, где бы германские войска потеряли голову... Позволю себе назвать германскую дисциплину *вполне народной*, — подчеркнул Скобелев, — а потому к ее проявлениям следует относиться с крайней осмотрительностью – как в смысле порицания, так и в смысле похвалы”. Именно железная дисциплина германской армии привела Скобелева к мысли, что в русском народе требуется не только низшее или среднее, но и высшее образование, как залог осмысленного патриотизма:

– Где будет патриотизм, там будет и дисциплина...

В ресторане у Донона он беседовал с Немировичем-Данченко:

– Вася, я с тобою честен. Вот про меня болтают, будто я весь в крови, сам рвусь на войну, чтобы слышать потом рукоплескания толпы, обвешивать себя побрякушками орденов. А знаешь ли ты, что я закоренелый враг всяческих войн?

– Знаю, – сказал Василий Иванович.

Выпив две рюмки подряд, Скобелев продолжил:

– Война – это несчастье! Это такое народное бедствие, что желать ее может только преступник. Сохрани меня, Боженька, от войны с кем-либо, но вот с немцами воевать придется... Живут они гораздо лучше нас, но им все еще мало! Рано или поздно они хлопот в Европе наделают. Нам, русским, от Германии пня гнилого не надобно, а в Берлине... аппетит у кайзера волчий! Его генералы давно зарятся на Польшу и нашу Прибалтику... Завтра буду говорить с царем, скажу ему, чтобы раскошелывался: нужно срочно тянуть железную дорогу от Минска на запад!

При свидании с ним император сказал:

– На вас очень много жалоб, доносов и прочего... от ваших же коллег-генералов. Понимаю, многие завидуют вашим успехам и вашей славе. Склонен думать, что если человек, вызвавший лавину нареканий, не обращает на критиков внимания, значит, этот человек чего-то стоит... Что думаете о делах на юге?

– Если вы имеете в виду неудачи под стенами Геок-Тепе, я бы всех тамошних генералов судил трибуналом. Конечно, – продолжал Скобелев, – неудачи бывали даже у Суворова, но нельзя же кровью расплачиваться за глупость генералов!

– Вот за это вас и не любят, – засмеялся царь. – В одном вы правы: мы своими наскоками только раздражили текинцев, и теперь они склонны верить англичанам, а не нам, русским...

От царя Скобелев заехал в гости к своему крестному отцу Ивану Ильичу Маслову, тот с порога спросил его:

– Мишка, а ты чего такой ошалелый?

Скобелев швырнул через всю комнату фуражку:

– Только что от царя! Теперь лично мне поручено штурмовать Геок-Тепе, где обклатились все наши генералы.

– Как же ты мыслишь действовать? – спросил Маслов.

Об ответе Скобелева: “Он прежде всего предполагал гуманную политику по отношению побежденных, способную превратить враждебные народы в дружественные, ибо только при этих условиях можно было бы вести ту политику, которую преследовал сам Скобелев...” Иван Ильич предупредил его:

– По газетным слухам, в Геок-Тепе уже сидит О’Доннаван, который сулит текинцам вооруженную помощь всей Англии... А ты, кажется, давно относишься к англичанам плохо?

Ответ Скобелева сохранился для истории:

– Напротив! Искренняя дружба между Англией и Россией даже необходима для справедливого хода всей европейской истории. Но искренность должна исходить прежде из Лондона, а не от наших дипломатов... Ладно. Вот поеду под Геок-Тепе, и посмотрим, как соберет свои манатки этот милорд О’Доннаван!

12 января 1880 года он прощался с Петербургом; император сказал, что дает ему права командующего, а в поход до Геок-Тепе просится немецкий военный атташе. Скобелев ответил:

– Я отказал даже Немировичу-Данченко, дабы избежать лишней рекламы, паче того, не желаю, чтобы на пролитии нашей крови германская армия получала боевой пример для себя.

– Какие есть просьбы? – спросил Александр II.

– Чтобы никто в мои дела попусту не совался.

– Ладно, – обещал царь. – Даже я не сунусь...

Скобелев вернулся в Минск проститься с войсками и Катей. Тогда же он составил завещание. В нем он просил обеспечить свою мать, назначил пенсию престарелому гувернеру Жирарде, а в селе Спасском Рязанской губернии наказывал открыть инвалидный дом для солдат, пострадавших на войне, безногих и безруких калек. Остальные свои деньги Михаил Дмитриевич завещал на основание народного училища: “Потребность в образовании ощущается в нашем Отечестве всеми честными людьми, совесть которых не заглушена инстинктами обжорства... в такой постановке вопроса я даже вижу, хотя отчасти, исцеление тех ужасных бедствий, какие влечет за собой война!”

Екатерина Александровна проводила его на вокзал.

– Катя, я устал ждать решительного ответа.

– Ах, Боже мой, вы так не похожи на всех...

– Так меня уже не переделать, – возразил Скобелев. – Мой поезд отходит. Скажите прямо – да или нет?

– Скажу, когда вернетесь живым из Геок-Тепе...

В Баку его поджидал капитан второго ранга.

– Степан Осипович Макаров! – представился он.

– Вы удивлены, что оказались здесь? – спросил Скобелев. – Но я сам просил о вашем назначении к себе, ибо ваши крылатые подвиги запомнились мне со времени минувшей войны. Будем говорить, что потребно для нашей Ахал-Текинской экспедиции... На одних верблюдах много не навоюешь, а посему сразу же потребно от Красноводска прокладывать железную дорогу в пустыню.

Степан Осипович постучал пальцем по карте:

– Возражаю вам! Рельсы удобнее тянуть вот отсюда, из Михайловского, что южнее Красноводска. Это сократит сроки строительства и не потребует чрезмерных расходов.

Макаров подсчитал, что ему с помощью кораблей предстояло срочно перебросить из Астрахани 25 миллионов пудов груза.

– Поспешите, – настаивал Скобелев, – ибо англичане уже заводят фабрики на берегах Амударьи...

Макаров сделал великое дело. 25 августа на раскаленный песок пустыни уложили первую шпалу, а 4 октября первый паровоз уже разбудил тишину пустынь своим гудком возле пустынного колодца Молла-Кара. Интенданты не могли управиться с горюю дров, а без дров в пустыне гибель: ни согреться, ни чаю выпить. Скобелев показал им образец походной печки:

– Никаких дров! Брать бурдюки с нефтью.

– Откуда тут нефть? Или из Баку возить?

– Макаров отыскал нефть в песках.

– А сколько прикажете брать водки?

– Ни капли! – отвечал Скобелев. – Сам грешен, люблю выпить. Но в походе водку заменять горячим чаем, и только...

Продовольственный вопрос он разрешил просто: “Кормить солдат до отвала и не жалеть того, что испортилось” (испорченное выбрасывать!). В поход двигались передвижные бани и пекарни, станки для запуска ракет, машины опреснителей, ручные гранаты для штурма и даже гелиограф – для передачи сигналов.

Крепко досталось от Скобелева его офицерам:

– Не имеете права обвешивать свои землянки коврами, если солдаты живут как сурки, в наспех выкопанных норах. В картишки дуется, а солдат жохнет от свирепой тоски...

“Солдата, – диктовал он в приказе, – нужно бодрить, а не киснуть с ним вместе... полезными играми я признаю игру в мяч, причем мячи необходимы различных размеров, прочные и красивые. Наконец, можно устроить для них игру в кегли...”

– Господи! – стонали интенданты. – Нас уже зашпынял, а солдату, будто аристократу, еще и кегли добывает...

Между тем среди текинцев возникли разногласия: одни желали русского подданства, другие, подстрекаемые духовенством, даже хотели войны. О’Доннован, корреспондент газеты “Дейли ньюс”, утверждал, что все силы Англии сейчас обращены на помощь текинцам, а русские солдаты идут сюда, чтобы изнасиловать всех женщин. Это дошло до лагеря русских солдат, и все они возмущенно отплеывались:

– Неужто мы жаримся на песке, как на сковородке, затем, чтобы с ихними бабами переспать... Придумали бы поумнее!

Мерв (Мары) в ту пору был главным рынком работорговли. Афганистан и Персия приветствовали экспедицию Скобелева, ибо сами не могли справиться с ахалтекинцами, живущими одним разбоем. Только воинственные курды жестоко отомщали текинцам за их набеги. А в Персии и Афганистане целые области, когда-то богатые и густонаселенные, теперь оставались безлюдны и одичали: ахалтекинцы всех вывезли в Мерв – на продажу! Потому-то навстречу отрядам Скобелева неустанно шли караваны верблюдов: персы и афганцы добровольно помогали русским, присылая им в подарок ячмень, рис, горох и коровье мясо.

Это произвело ужасное впечатление на текинцев:

– Как они, сами верующие в Аллаха, могли осмелиться помогать неверным гяурам, желающим нашей гибели?!

Скобелева они прозвали Гез-Канлы, что значит Кровавые Глаза.

В один из дней, когда появилась текинская конница, Михаил Дмитриевич вихрем вырвался ей навстречу – как всегда на белом коне, далеко видимый, он отмахивался от пуль прутиком, словно одолевали его комары, а свое геройство объяснял просто: “Врага надо лупить не только по загривку, но и бить по воображению...” В гарнизоне Геок-Тепе даже суеверные муллы признавали, что Гез-Канлы заговорен от пуль. Хорошо знающий повадки Востока, он умел оценивать обстановку по внешним приметам: если базар в Бами оживал, набега из пустыни не будет, если же появились муллы и юродивые, предсказывающие конец света, жди

налета текинской кавалерии. А в походном шатре генерала горкой лежали философские труды Куно Фишера, восемь томов всемирной истории Шлоссера и даже научная работа Фогта / по физиологии... Дукмасову он говорил:

– Убьют или не убьют – это еще бабушка надвое сказала, а учиться человеку нужно постоянно... Без знаний – смерть!

После опасной рекогносцировки под стенами Геок-Тепе он сделал вывод: “Текинцы лучше вооружены, чем мы думали, они умеют воевать, перенимая наши же приемы”. В рукопашном бою они стремительны, словно барсы, и солдатам трудно увернуться от их сабель, пластающих над ними воздух. Выпустив в крепость 120 ракет, Скобелев вернулся в Бами, где собралась войска, прибывшие с Кавказа. Начальником штаба был полковник Гродеков, известный военный писатель, особый Туркестанский отряд возглавил Куропаткин, о котором Скобелев не раз говорил: “Хорош и умен, пока исполняет чужие приказы, а как возьмется лично командовать – дурак дураком оказывается...”

1 декабря 1880 года войска вступили в кишлак Егян-Батыркала, что в 12 верстах от Геок-Тепе. Текинцы в одних рубашках, засучив рукава, кидались на русские позиции, кромсали все живое, но и сами несли потери. Настал день 12 января – день штурма. Скобелев с отвращением морщился.

– Мишель, чего морщишься? – спросил его Гродеков.

– Сегодня понедельник, тяжелый день.

– Легкий! – возразил Гродеков. – Двенадцатого января Татьяна день в честь основания Ломоносовым первого русского университета... Не пора ли выступить колонне Куропаткина?

В подкопе взорвалась мина, и войска устремились на штурм. Внутри крепости полно кибиток, а каждая глинобитная сакля – как форт. Куропаткин первым кинулся в пролом стены, обрушенной взрывом мины. В два часа дня все было кончено, хотя фанатики еще отстреливались. Скобелев повелел:

– Всех женщин и детей оградить караулом, наладить кормление жителей. Отдельно выявить сирот, чтобы их не обижали...

Сам он плакал! Только что получил известие из Болгарии: его мать, которую он так любил, зарезана разбойником ради грабежа. Скобелев вытер слезы, указав Гродекову:

– Все валы крепости Геок-Тепе обрушить во рвы...

Напряжение этих дней сказалось: он вдруг заболел.

Его навещали, как это ни странно, сами текинцы:

– Если бы мы раньше знали, что вы не станете вырезать нас, а женщин насиловать, мы бы давно помирились с вами... Нет, у тебя не “кровавые глаза”, а у тебя глаза добрые.

Через шесть дней, 18 января, отряд Куропаткина вступил в Ашхабад – еще не город, а лишь большой кишлак. Окрестности вскоре замирились настолько, что одинокий всадник мог ехать без боязни. Бежавшие в пустыню семьи возвращались к родным очагам. Русские уже не казались такими страшными извергами, какими изображал их О’Доннован. Даром ничего не брали, даже за гроздь винограда платили щедро. Только один ракетчик, напившись, ворвался в кибитку и зарезал текинца. Скобелев велел вывести его перед жителями и расстрелять.

– Я уезжаю, – сказал он Гродекову. – Не забудь, что во всем крае не должно оставаться ни одного раба. Всех рабов, персов или афганцев, срочно вернуть на их родину...

Начальником в Красноводске был кавторанг Макаров.

– Степан Осипович, чем занимаетесь?

– Гоню рельсы дальше, завожу нефтяные станции.

– Счастливый человек! – вздохнул Скобелев.

– А вы?

– Несчастный... *ненавижу* войну и обязан воевать. А смерть матери меня подкосила. Мне даже страшно...

Закрыв лицо ладонями и покачиваясь, он стал читать любимые стихи Тютчева и Хомякова. Макаров понял, что перед ним надломленный человек, которому очень трудно живется...

После убийства Александра II престол занял Александр III, который тоже “ненавидел войну”. Скобелев говорил о нем:

– Этот миротворец шептунов станет слушать о том, какой я кровожадный и как я завидую лаврам Суворова...

Узнав о триумфальном возвращении Скобелева, ставшего народным героем, Александр III был возмущен:

– Это уже выходит из рамок приличия! Скобелев возвращается из Азии, словно Бонапарт из Египта, не хватало ему лишь 18-го брюмера, чтобы он объявил себя первым консулом...

“Встреча в Москве затмила все. Площадь между вокзалами была залита народом, здесь были десятки тысяч, и сам генерал-губернатор кн. Долгоруков еле протискался в поезд, сопровождая Скобелева до Петербурга”. В столичном обществе рассуждали о конституции, а царь встретил Скобелева вопросом:

– Вы почему не уберегли графа Орлова?

Михаил Дмитриевич с вызовом распушил бакенбарды.

– Ваше величество, на войне пуля не разбирается в титулах... Орлов погиб под стенами Геок-Тепе... как и многие другие. Но об этих других вы меня не спросили.

Маркиз Мельхиор де-Вогюэ, знаток русской литературы, встретил Скобелева в нервном возбуждении; он кричал:

– Император даже не предложил мне сесть! Я хотел говорить о политике, а он свел разговор к болтовне о послушании...

Скобелева он застал в дружеском кругу Тургенева, Анненкова, Градовского, и в этом обществе маркиз де-Вогюэ чувствовал себя так, будто попал в салон г-жи Неккер накануне Французской революции; популярность “белого генерала” казалась ему выше императорской власти. Победоносцев, чуя недоброе, заклинал царя “привлечь Скобелева к себе сердечно”, ибо положение в стране было тревожно. Известно, что в эти дни Скобелев не скрывал желания арестовать царскую семью (этот малоизвестный факт подтверждали юрист А. Ф. Кони и знаменитый анархист князь П. А. Кропоткин).

Летом 1881 года Скобелев отдыхал во Франции, привлекая к себе внимание парижан вызывающими репликами по адресу царя и его приближенных. Вернувшись в Петербург, он не укротил своего злоречия. Н. Е. Врангель, будучи в эмиграции, описал диалог между Скобелевым и генералом Дохтуровым, которому сам был свидетель. Речь шла об Александре III:

– П о л е т и т, – смакуя каждый слог, повторял Скобелев, – и скатертью ему дорога.

– Полетит, – отозвался Дохтуров, – но радоваться этому едва ли приходится. Что мы с тобой полетим с царем вместе – это еще полбеда, а ты смотри, что и Россия с царем полетит.

– Вздор! – прервал его Скобелев. – Династии меняются, династии исчезают, зато нации бессмертны...

В это время возникла “Священная дружина”, чтобы охранять престол от покушений. Засекреченная, как и подполье народовольцев, “дружина” напоминала тайное судилище вроде древнегерманской “фемы”, нечто среднее между масонской ложей и III отделением жандармов. Французский премьер Леон Гамбетта, друг Скобелева и лидер республиканцев, предупредил, что “дружины” следует опасаться. Скобелев лишь отмахнулся.

– Я не верю в сборище титулованных оборотов, которые берегут престол, как заядлый алкоголик бережет свой последний шкалик. Скажу честно. Я убежден, что Россия сейчас более революционна, нежели ваша Франция, и смею думать, что русские не допустят ошибок французских революций...

– Зачем вы ездили в Женеву и Цюрих?

– Хотел связаться с эмигрантами-революционерами. Я понимаю их стремления, но вряд ли они поймут мои. Про меня говорят, что я ненавижу нигилизм. Это верно! Я способен освоить идеи народолюбцев, но терпеть не могу разболтанных нигилистов, которые отрезали себе косы и забывают помыть шею...

Гамбетта проводил его дельным напутствием:

– Все-таки остерегайтесь “Священной дружины”. Вас возносят слишком высоко, а деспоты не выносят, если рядом с ними возвышается кто-то еще, любимый и признанный народом...

В декабре 1881 года, навестив Петербург, Скобелев не мог найти места в гостинице. Ему сказали, что все номера заняты кавалергардами и сливками знати. Скобелев не удержался:

– Ах, опять эти господа дружинники!..

Суть этой презрительной реплики быстро дошла до царя, и военный министр Ванновский вызвал генерала для объяснений:

– Вы осмелились задеть честь истинных патриотов.

– Да, – не отрицал Скобелев, – мне противно, что, единожды дав присягу, офицеры-дружинники решают, кто друг, а кто враг. Если у нас существует надзор жандармов, то нужно ли офицерам создавать свою “охранку” для сбережения престола?

Он мог бы сказать и больше: армия скорее пойдет за ним, за Скобелевым, нежели потащится за престарелым министром.

Настал последний год его сумбурной жизни...

12 января, в годовщину падения Геок-Тепе, Скобелев выступил на банкете офицеров с политической речью, которую заранее согласовал со своим другом Иваном Аксаковым. Неожиданным был его жест, когда он вдруг отодвинул бокал с вином и попросил подать ему стакан с трезвой водой:

– Не терпит сердце, что, когда мы здесь пируем, идет восстание против австрийцев в Далмации, а германские ружья уперлись в грудь балканских славян... Не миновать часа возмездия, и русский человек, как в недавней борьбе за освобождение болгар, станет за наше общее славянское дело. Я недоговариваю, – намекнул Скобелев, – но все мы, господа, свято и твердо веруем в историческое предопределение России!

Со стаканом воды в руке он заключил речь словами:

– Космополитический европеизм не есть наш источник силы, и он может являться лишь признаком духовной слабости нации. Сила России не может быть вне народа, а наша интеллигенция сильна только в неразрывной ее связи с народом...

Эта речь обошла все русские газеты, ее перепечатавали за рубежом. Она была вроде камня, брошенного в застоявшуюся воду. Скобелев невольно вмешался в область дипломатии, и это не прошло ему даром. Александр III указал:

– Пусть он убирается куда хочет... в отпуск!

Выехав во Францию, Скобелев направил в Женеву адъютанта Дукмасова к эмигранту Петру Лаврову:

– Скажи, что нам необходимо встретиться в таком месте, где бы нас не узнали. Сам понимаешь, что моя встреча с видным революционером – это свидание льва с тигром...

Дукмасов вернулся и доложил, что Лавров наотрез отказал Скобелеву в свидании: “Помилуйте, о чем я могу разговаривать с генералом?” Михаил Дмитриевич разругал Лаврова:

– Жалкий сектант! Замкнулся в теориях, не желая понимать, что среди генералов и офицеров немало людей, жаждущих обновления России... Впрочем, – вяло улыбнулся Скобелев, – граф Лев Толстой, принимая у себя всяких босяков и голодранцев, тоже не пожелал встречи со мною...

В феврале его посетили сербские и болгарские студенты, учащиеся в Париже, они горячо благодарили генерала за то, что он открыто вступился за балканских славян. В газетных статьях ответ Скобелева студентам прозвучал слишком резко:

– Если вы хотите, чтобы я назвал вам врага, опасного не только вам, но и всей России, я назову его. Это – Германия, и борьба славянского мира с тевтонами неизбежна... Она будет длительна, кровава, но я верю в нашу победу... Я, – продолжал Скобелев, – объясню вам, почему Россия не всегда на высоте своих задач в объединении мира славянства. Мы, русские, уже не хозяева в своем доме! Немец проник всюду, мы стали рабами его могущества. Но рано или поздно избавимся от его паразитического влияния, но сделать это мы можем не иначе, как только с оружием в руках...

Это был выпад против придворной камарильи, где первенствовали остзейские бароны, покорные воле Берлина, потенциальные предатели, открыто гордившиеся тем, что служат не России, а лишь династии царей дома Романовых– Гольштейн-Готторпских!

Гамбетта поблагодарил Скобелева за то, что он не побоялся назвать врага не только России, но и Франции:

– Ваш разговор с сербскими студентами вся Европа восприняла как политическую программу России, но вряд ли ее одобрит император Александр III и его бездарные министры...

Конечно, царь сразу же вмешался:

– Соблаговолите телеграфом известить Скобелева, чтобы вернулся домой, причем ехать ему надо так, чтобы миновать Берлин, иначе немцы проломают ему голову пивными кружками...

Скобелев предвидел отставку и, кажется, сам был готов сменить мундир на сюртук. Дукмасову он говорил:

– Меня в Петербурге примут как последнего негодяя. Теперь могут и подстрелить на улице... Вот, дослужился!

Правда, Ванновский уже докладывал императору:

– Держать Скобелева командиром корпуса в Минске, на западных рубежах, чревато опасными последствиями. Он может сознательно вызвать конфликт с Германией.

– Следить за его поведением, – наказал император.

За словами и поступками Скобелева следили не только жандармы, но и члены “Священной дружины”, видевшие в нем опасного заговорщика. Дукмасов упрекал генерала:

– Что вы так часто стали говорить о смерти!

– Жить буду недолго и в этом году умру. Вот поеду в Спасское, где заранее велю откопать себе могилу.

Немирович-Данченко тоже заметил его депрессию:

– На вас все люди смотрят, а ты голову повесил...

Тогда же он и записал ответ Скобелева:

– Каждый день моей жизни – отсрочка. Я знаю, что враги не позволят мне жить. Меня уже не раз называли роковым человеком, а такие люди и кончают жизнь роковым образом...

“И часто и многим повторял он, что смерть уже сторожит его, что судьба готовит неожиданный удар”. Но при этом Скобелев оставался деятелен, он к чему-то готовился:

– Сейчас мне нужен миллион, никак не меньше...

Всегда щедрый до крайности, соривший деньгами, он вдруг сделался отвратительно скуп. Его московский приятель, князь Сергей Оболенский, застал Скобелева за лихорадочной распродажей золота, облигаций, процентных бумаг. Он сказал князю:

– Все до копейки выгреб из банка, все спустил с себя, чтобы набрать миллион. Живу только жалованьем, урожай со Спасского продам. С этим миллионом поеду в Болгарию...

Оболенский догадался, что Болгария тут для маскировки истинных целей, но каких – об этом Скобелев не проговорился. Собрав миллион, он доверил его хранить Ивану Ильичу

Маслову, а сам отъехал в Минск. Здесь он принял почести почти царские: город был иллюминирован, улицы запружены народом. Скобелев, обнажив голову, ехал при свете факелов.

– Последний раз... последний, – шептал он.

Реакция усиливалась, и казалось, Александр III задушит даже те реформы, какие дал стране его отец. Блуждали слухи, что в Петербурге решено упрятать Скобелева куда-нибудь подальше, в края диких пустынь и нищих кишлаков, чтобы его голос затих в пекле закаспийских песков.

– Я устал, – признался он Дукмасову. – Давно тянет погрузиться в волшебный “вундерланд”, где царит идеальный мир. Недавно я, перелистав Шиллера, встретил у него такие строчки: “Вот челнок колышет волны, но гребца не вижу в нем...”

Пришло время окончательного объяснения с Екатериной Головкиной, и Скобелев перечитал ее последние письма: “Всеми силами души я стремлюсь к более деятельной жизни, мне душно и тесно в той сфере, которая окружает меня, хочется широкого поприща для труда, скажу больше, мне хочется страшной борьбы, жестокой и смертельной, за свое существование, вот тогда я скажу, что отвоевала право жить для вас...”

Они встретились. Скобелев спросил:

– Когда же вы дадите мне полноту семейного счастья?

Екатерина Александровна ответила:

– Вы – моя фатальная симпатия, я покоряюсь не лично вам, а той славе, какую вы заслужили... Дайте мне полное право властвовать над вами, и тогда получите счастье любви. Но не забывайте: если все преклоняются перед вами, то я – никогда! Мое место подле вас, но я должна стоять выше вас.

– Вы слишком рассудительны, – отвечал Скобелев, – и в ваших словах я вижу только расстановку боевых сил, но я не вижу главного для создания семьи – простой женской любви.

Екатерина Александровна дополнила свою речь:

– Я боюсь разницы между нами. Вы богаты, вы знамениты, и, если я стану вашей женой, все будут говорить, что я вышла за вас по расчету. Я вынуждена покинуть Минск.

– Неужели? Зачем? Подумайте.

– Я еще не стала вашей женой, а ко мне уже являются дамы с нежными интродукциями по поводу моего “счастья” с вами, уже выклянчивают у меня протекцию для своего мужа или сына... Нет уж, из меня не получится “полковая мать-командирша”!

Она уехала, а Скобелев жестоко запил.

– Хорошо нам было на Шипке, – говорил он Дукмасову, – хорошо было под стенами Геок-Тепе, а теперь... на что я годен? Все исковеркано, испоганено... все на свете – ложь! Даже эта слава – дерьмо! Разве в ней истинное счастье?

– Да успокойтесь, – утешал его Дукмасов.

– Уеду... в Спасское! Буду картошку сажать. Все больше пользы для людей, нежели эта гадкая отрывка славы!

В конце июня 1882 года Скобелев накоротке навестил столицу, после чего поехал в Москву, где снял для себя номер у “Дюссо”. К смерти он не был готов, звал Гродекова погостить у него в Спасском, книжный магазин М. О. Вольфа получил от него большой заказ на литературу по сельскому хозяйству и по вопросам развития вооруженных сил Германии.

Князь Сергей Оболенский застал его в ужасном состоянии:

– Что с тобою, Михаил Дмитриевич?

– Лучше не спрашивай! Все в жизни как дым...

– Да что случилось-то? – настаивал князь.

– Все деньги пропали.

– Какие?

– Да этот миллион, что я насобирал, будто скряга.

– Как? Где? Расскажи.

– Отдал их своему крестному отцу Маслову, человек порядочный, а он вдруг спятил... чепуху несет... лает.

– Господи! – изумился Оболенский. – Да ведь миллион-то – не рубль, ты бы с Масловым поделикатнее...

– Всяко пробовал. Даже целовал его. А он под диван забрался и оттуда стал меня же облаивать... гав-гав! гав-гав!

(Забегая вперед, я скажу, что И. И. Маслов, не вернув Скобелеву деньги, очевидно, хотел отвлечь крестника от авантюры, а перед своей смертью в 1891 году Иван Ильич весь миллион завещал на дело народного образования, так что сумасшедшим он никогда не был.)

24 июня Скобелев навестил Аксакова со связкой бумаг:

– Иван Сергеич, я оставлю их у вас. Боюсь, что за ними охотятся. С некоторых пор я стал подозрителен...

Вечером следующего дня Скобелев навестил ресторацию “Англия” на углу Петровки и Столешникова переулка. Здесь он ужинал с расфуфыренной немкой Вандой, известной кокоткой. Из отдельного кабинета в ресторан явился незнакомый господин с бокалом шампанского и просил Скобелева выпить.

– У нас там собралась хорошая компания, – сказал он. – Но узнали, что вы здесь, и тоже будем пить за ваше здоровье...

Скобелев выпил. Была уже ночь, когда дворника гостиницы всполошила Ванда, растрепанная, прямо с постели:

– Помогите! В моем номере скончался офицер...

Нагрянула полиция, и все узнали генерала Скобелева.

В. А. Гиляровский писал, что после этого Ванда повысила на себя цену, но к ней пристала кличка Могила Скобелева.

Историкам известна фраза фельдмаршала Мольтке:

– Не скрою, что смерть Скобелева доставила мне радость...

В этом случае немка Ванда могла быть агентом германского генштаба, который с ее помощью убрал Скобелева, как опасного противника в будущей войне. Но слишком подозрителен неизвестный господин из отдельного кабинета, просивший Скобелева осушить бокал шампанского, и в этом случае он мог явиться тайным агентом “Священной дружины”, которая расправилась с популярным генералом совсем по иным причинам.

В первом случае Ванда действительно являлась агентом бисмарковской Германии, ибо сразу же после гибели Скобелева немецкая пресса издала вопль дикой радости; в кайзеровской армии началось всеобщее ликование, будто она уже выиграла войну с Россией. Но владелец ресторана “Англия”, где часто ужинал Скобелев, говорил писателю Гиляровскому:

– Ванда не такой человек, чтобы травить кого-то...

Второй случай, с бокалом шампанского, более подозрителен. И эти подозрения усиливаются, если учесть, что царская цензура беспощадно вымарывала все подробности смерти Скобелева. Здесь опять из потемок является нам зловещая тень “Священной дружины”, а может быть, даже влияние самого царя, тем более что в простом народе тогда ходила молва, будто Александра III скоро свергнут, а царем сделают генерала Скобелева. Как бы то ни было, но в газетах Парижа писали, что тайным голосованием в “Священной дружине” 33 голосами (против 40) было принято решение избавить страну и армию от Скобелева...

Вскрытие тела производил профессор Нейдинг.

– Покойный, – объявил он, – скончался от паралича сердца и легких, воспалением которых недавно перестрадал.

Друзья Скобелева не верили в это:

– Миша был страшно мнителен, с каждым прыщиком бегал по врачам, а на сердце он никогда не жаловался.

Совершенно невероятно известие от С. И. Щукина, создателя музея русской старины в Москве, который говорил:

– Вы не знаете правды! Когда полиция вошла в номер Ванды, Скобелев лежал голый, но был весь опутан веревками.

Художник В. В. Верещагин, хорошо знавший покойного, тяжело переживал смерть друга, но утверждал иное:

– Ванда тут ни при чем! Миша просто забыл, что ему не двадцать лет. Выпил лишнее и нашел смерть во всем ее безобразии. Если бы женился да жил, как все люди живут, ничего бы с ним не случилось. Не нашлось женщины, способной сбечь его!

Толпы москвичей с утра осаждали гостиницу, “чтобы поклониться праху человека, чье имя стало национальной гордостью, это было подлинное народное горе. Площадь перед церковью была забита народом. Толпа целовала не только гроб, но и помост, на котором он стоял, после того, как печальный и торжественный кортеж направился к Казанскому вокзалу”.

Из пятнадцати вагонов, заполненных войсками, друзьями и родственниками Скобелева, был составлен особый траурный поезд, который и тронулся в Рязанскую губернию. Всю дорогу вдоль насыпи стояли мужики, кланялись мчавшимся вагонам. На станции Ранненбург поезд встречали крестьяне из села Спасского. Среди зеленых полей, вдоль деревень и сел двигался траурный кортеж. Оглушительный ливень не мог помешать этому шествию, и капли дождя перемешивались с людскими слезами...

Возле села Спасского крестьяне сказали:

– Выпрягай лошадей! Далее мы его на руках понесем!

Процессия миновала небольшой дом Скобелева, перед фасадом которого покойный каждый год разбивал клумбы из ярких цветов, сложенных в такие слова: честь и слава!

Смерть Скобелева воспринимали по-разному, и не все жалели о нем. Салтыков-Щедрин даже с презрением отмахивался:

– Забубенная головушка, каких на Руси навалом! Эка важность, что первым лез в драку... А что пользы для нас?

Престарелый генерал Витмер, профессор Академии Генштаба, узнал о смерти своего ученика в Крыму на даче: “Ноги мои точно подкосило, я невольно опустился на стул. Но, опомнившись, я, не скрываю, перекрестился”. При этом Витмер сказал:

– Великое счастье для русского народа, что Скобелева не стало. Талантливый честолюбец, не уйди он сам из жизни, и он втянул бы Россию в новую войну...

Правда, тот же профессор Витмер в 1905 году страдал, как и многие патриоты, из-за поражения русской армии на полях Маньчжурии; он, подобно другим русским, часто вздыхал:

– Эх, нет у нас Скобелева... он бы развернулся!

Долгие-долгие годы русский народ по копеечке собирал деньги на памятник своему герою. Созданный целиком на общенародные пожертвования, без участия царя и его министров, памятник М. Д. Скобелеву был открыт в центре Москвы 24 июня 1912 года на Тверской (ныне Советской) площади. Скобелев был представлен на коне, взмахивающий саблей, а внизу постамент его окружали герои-солдаты, отстреливающиеся от наседающих врагов...

Это был подлинно народный памятник – для народа! Чтобы мы помнили. Чтобы не смели забывать.

Как попасть в энциклопедию?

Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин славился широтою самых различных познаний. Когда в 1926 году Отто Юльевич Шмидт (известный полярник, а тогда главный редактор первого издания БСЭ) выпустил первый том советской энциклопедии, Георгий Васильевич разругал его самым жестоким образом, ибо в оценках исторических личностей объективности не усмотрел. Чичерина возмутило, что в БСЭ на всех навешивали отличительные ярлыки, разделяя людей на прогрессивных, реакционных, либералов и консерваторов. “Позволю себе обратить ваше внимание, – писал нарком Шмидту, – энциклопедии существуют для наведения справок, справки же бывают нужны независимо от монархического или республиканского характера упоминаемых лиц...” Чичерина просто бесило, что в БСЭ даже не упомянуты люди, о которых надобно знать каждому культурному человеку!

– Где римский император Аврелиан? Нет персидских шахов Аббасов, пропущен даже египетский Али-паша... Куда делись, наконец, адамиты? Энциклопедия обязана давать ответ на любой вопрос, а если ответа не дает, значит, это уже не энциклопедия, а лишь подборка сомнительных героев, избранных редактором исключительно по своим партийным соображениям...

Теперь я раскрываю том БСЭ на букву С, но имени А. В. Старчевского не нахожу. Между тем помянутый мною Старчевский как раз и был главным редактором русской энциклопедии, которую – к великому удивлению современников – все-таки “дотащил” до последнего тома и при этом остался цел. Итак, поговорим об этом забытом человеке, а вернее, о том, в каких условиях издавалась энциклопедия в “старое доброе время”.

История эта почти с трагическим надрывом, недаром же Старчевского частенько спрашивали:

– Альберт Викентьевич, отчего вы смолоду плешивый?

На это он всегда отвечал... даже с оттенком гордости:

– А вы, сударь мой, свяжитесь-ка с изданием энциклопедии, так у вас от головы одна перхоть останется...

Старчевский “связался” с энциклопедией, когда ему исполнилось лишь 27 лет. Люди того времени рано становились самостоятельны, а посеми и успевали многое сделать – не как наши женатые оболтусы, сидящие на шеях у папеньки и маменьки. Но рассказ придется начать с Александра Ивановича Варгунина!

Это был хозяин Невской бумажной фабрики, которая – первая в России – работала на паровых машинах. Варгунинская бумага славилась выделкой и дешевизной. Александр Иванович, еще молодой человек, стяжателем не был, неимущим писателям давал бумагу даром, широко открывал кошелек для полезных изданий.

Варгунин рассуждал как российский патриот:

– Обидно, что мы, русские, остановились на “Лексиконе” Адольфа Плюшара, не решаясь объять необъятное заново. Но еще обиднее, что издание энциклопедий редко доживает до буквы Д или К, скоростаживно умирая заодно с подписчиками...

Осенью 1845 года Старчевский был извещен, что его желал бы видеть печатник Карл Карлович Край, владелец типографии, считавшейся в Петербурге одной из лучших, и Старчевский догадывался, что “Карлушка” ищет его неспроста. Наверное, до Крайя дошли слухи, что Старчевский в обществе братьев-поэтов Майковых и офицера Гедеонова вызвался составить алфавит лиц, достойных для помещения их в биографический словарь-справочник. Поразмыслив над всем этим, Альберт Викентьевич навестил Крайя в его холостяцкой квартире.

– Да, – признал Край, – я уже слышал, что молодые люди собираются порадовать публику новым лексиконом, но... Где вы сыщете денег на это издание? И кто такой Гедеонов?

– Штабс-капитан Генерального Штаба.

– Так разоритесь вы с этим штабс-капитаном, – откровенно смеялся Край. – А между тем известный фабрикант Варгунин сразу выкладывает из кармана двадцать тысяч рублей.

– На сколько томов? – насторожился Старчевский.

– На четыре...

С этой новостью Старчевский навестил Гедеонова:

– Иван Михайлович, если наше предприятие кредитует Варгунин, тогда русский читатель получит не жалкий справочник, а сразу четыре увесистых тома словаря.

– Соблазнительно... даже очень, – хмыкнул штабс-капитан.

– Край, конечно, делить доходы не пожелает, но, может, господин Варгунин согласится иметь меня в общей компании?

Край в самом деле упрямылся, говоря, что лишних не надобно, но Варгунин встретил Гедеонова даже весело:

– Офицер Генштаба никак не помешает, а, напротив, придаст солидность нашему делу. Я свою долю внесу, а... вы?

– Ассигную треть расходов, – согласился Гедеонов.

– Вот и отлично! Шайка разбойников, считайте, уже в сборе, осталось выбрать лишь атамана – главного редактора.

– Вы намекаете на... кого?

– Конечно, на вас, – отвечал Варгунин Старчевскому...

Край, как издатель будущей энциклопедии, затребовал по 40 рублей за каждый печатный лист, набранный в его типографии, а Старчевский обрел права составителя и редактора, за что ему обещали платить по 75 рублей ежемесячно.

Сам же Варгунин был далек от мыслей о наживе:

– Об одном стану Бога молить, чтобы наши церберы дали дотянуть энциклопедию до конца алфавита. Ну а вам, господин Старчевский, яко редактору, выпадает самая тяжкая доля. Попадете на крамолу, так не миновать плахи цензурной...

Здесь, читатель, уместно сказать, кто такой был Старчевский и откуда он взялся? Начнем с того, что он окончил два университета – Киевский и Петербургский, затем слушал лекции в Берлинском. Еще студентом выпустил солидный труд “Сказания иностранных писателей XVI века о России”; в королевской библиотеке Берлина он собрал сотни автографов деятелей славянского мира, которые издал с их биографиями. Старчевский составил и каталог материалов по русской истории, найденных им в европейских архивах. Юрист по образованию, Альберт Викентьевич был превосходным знатоком славянских наречий (вплоть до верхнелужицкого), владел множеством языков восточных, знал латынь, французский, итальянский, испанский и прочие языки. В журналах столицы он вел обзоры исторической критики, славянской филологии и этнографии; был автором солидной монографии об историке Н. М. Карамзине, составил свод русской литературы со времен Нестора-летописца... Вот с таким научным “багажом” молодой человек и взвалил на себя тяжкое бремя ответственности за составление и редактирование энциклопедии!

Сначала думали, что все уместится в четырех томах. Но прикинули собранный материал, и как его ни сжимали, как ни выгадывали на сокращениях, однако вскоре же убедились, что тут и восьми томов не хватит. Варгунин с печальным вздохом раскошелся еще на две тысячи рублей.

– Эх ма! – сказал он. – Чует мое сердце, что вскорости предстоит мне снова мощну развывать...

Казалось, все уже готово, чтобы порадовать подписчиков первым томом, на столах редакции росли груды статей для следующих томов, но тут Край заявил, что его типография совсем не готова. Край заботило собственное обогащение, и потому он беззастенчиво выпросил у Варгунина четыре тысячи рублей.

– А как же! – доказывал он. – Для такого дела, как наше, следует выписать из Берлина скоропечатные машины Зигеля, нужны особые матрицы для шрифта “боргес” особого кегеля, чтобы на каждой странице умещалось текста поболее...

Была зима, навигация закончилась, Берлин не спешил с машинами и отливкой шрифта, потом массивный груз, доставленный морем по весне, залежался на складах таможни, отчего первый том запаздывал, подписчики ругались, а Карл Карлович Край завел новую квартиру, отделал ее самым роскошным образом и даже не скрывал от Старчевского, что пришло время жениться.

– Хуже от этого не будет, – говорил Край, – но с Варгунина – ради моего счастья – мне бы сорвать еще две тысячи...

Коллектив авторов трудился на славу, готовя статьи по разным вопросам бытия, и Старчевский, едва прочтя справку о планете Сириус, уже сокращал статью о болезни печени, затем вникал в расположение парусов на фрегате, а сбоку ему уже подсовывали записку о мумиях египетских фараонов. Каждый автор считал свою статью самой главной в энциклопедии, а потому сокращений никто не терпел. Столы редакции уже прогибались от тяжести готового материала, Старчевский сказал Варгунину:

– Чувствую, и восьми томов нам не хватит.

– Грабьте, – отозвался Александр Иванович...

Старчевский сложил все записки первого тома строго по алфавиту – получился бумажный столб высотой в аршин, если не больше. Вот эту “башню” в августе 1846 года с трепетом водрузили на стол цензора, боясь, что она обрушится на пол, а тогда начинать снова собирать все листочки статей по алфавиту. Цензор оглядел этот бумажный “Вавилон” и заявил:

– Вы, господа, что думаете? Я оставлю дела, брошу семью с детьми и жену в слезах – и все ради того, чтобы читать ваши справочки? Нет уж, оплатите мне этот каторжный труд хотя бы в пятьсот рублей, а тогда... Что ж! Тогда и почитаем.

Делать нечего. Пришлось снова трясти Варгунина.

– Я так и думал, – сказал тот. – Впрочем, на то бараны и существуют, чтобы их стригли...

Получив просимое, цензор быстро разрешил первый том к печатанию. Радуюсь успеху, тогда никто не заметил, что цензор оставил у себя два листка – на Анну Иоанновну с ее “бирюзовщиной” и на Анкарстрема, который на карнавале в Стокгольме зарезал шведского короля Густава III. Но радость была так велика, что в редакции устроили вечеринку, а Край обещал завтра же сдать первый том в набор.

Старчевский, сияя лицом, провозгласил тост:

– Господа, с первым успехом! Но думается, что энциклопедия не должна бояться осветить жизни и труды наших выдающихся современников... Неужели мы не помянем на наших страницах о доблестных генералах и мудрых сенаторах?

– Урра-а-а! – закричал Край, и на другой день, выпросив у Варгунина денег, он поведal ему: – Наш редактор так разошелся, что и вас желает увековечить в нашей энциклопедии!

Но Старчевский после этой вечеринки получил повестку, чтобы явился к М. Н. Мусину-Пушкину, председателю Цензурного комитета, он же был и попечителем учебного округа столицы. А потому, когда Старчевский явился на вызов, в приемной было не протолкнуться от множества просителей; Альберт Викентьевич остался в дверях, дождавшись явления Мусина-Пушкина, перед которым толпа раздвинулась, образуя коридор, в конце коего вельможа сразу узрел главного “атамана” энциклопедии.

– А-а-а... вот и вы! Так знайте, что вашу энциклопедию надобно разорить... Или в крепости еще не сидели? Как вы смели осуждать императрицу Анну Иоанновну? Наверное, новой пугачевщины захотели? Россию спалить задумали?

При таком вопросе многие дамы с прошениями в руках поспешили к выходу, гимназисты укрывшись за спинами студентов, а студенты занимали оборону за спинами своей профессуры.

– Ваше превосходи...

– Молчать! – заревел председатель на Старчевского. – Откуда вы взяли Анкарстрема, который дерзнул покуситься на священную особу королевского величества? Я навешаю на вас столько собак-цензоров, что ваша энциклопедия сразу застрянет на первом же томе, как телега в болоте...

Да, цензоров сразу прибавилось, и Варгунин подсчитал, что расходы на них возьмут немало денег с доходов его писчебумажной фабрики. В самом начале 1847 года один том все-таки появился в свете, но после критики о том, что статьи словаря слишком краткие, было решено расширить пределы энциклопедии, чтобы издавать не восемь, а двенадцать томов. При этом Край требовал оплачивать ему не сорок, а восемьдесят рублей за каждый печатный лист, ссылаясь на дороговизну шрифта боргес и сложность печати на немецких машинах.

– Ваше счастье, что ни Варгунин, ни Гедеонов ни бельмеса не смыслят в типографских делах, но я-то, – сказал Старчевский, – отлично понимаю, что обстановка вашей квартиры уже давно стала дороже вашей вонючей типографии...

После первого тома вышел сразу двенадцатый, и Старчевский сделал это нарочно, дабы подписчики поверили, что издание будет доведено до конца, а весь материал для составления энциклопедии уже полностью собран. Так что не волнуйтесь!

Однако выстреливать тома, словно ядра из пушки, Старчевскому не удалось. Вина в этом он сам, пожелав дать место на страницах энциклопедии для своих современников. Известно, что с мертвыми всегда можно поладить, но не дай Бог, если нарвешься на живого, который всеми фибрами души устремлен в собственное бессмертие. Объявление в газетах о том, что энциклопедия собирается отразить славные деяния современных деятелей, ужасно взволновало сановный Петербург, переполненный донельзя именно такими “современниками”.

Всем выдающимся персонам разослали опросные анкеты для написания их биографий, и лишь два человека во всей России отказались от такой чести. Киевский губернатор Д. Г. Бибииков вернул анкету в редакцию, “так как, вероятно, вопросы эти присланы мне по ошибке, ибо я, Бибииков, никак не могу считать себя в числе знаменитых”. Князь М. С. Воронцов от чести попасть в энциклопедию резко отказался, указывая при этом Старчевскому, что “в подобных изданиях никогда не следует помещать биографии людей живущих, неизвестно какого конца ожидающих, но только биографии тех людей, которые давно умерли”, дабы судить о них беспристрастно.

А редакция энциклопедии уже превратилась в сущий ад. Старчевский начал лысеть, говоря с большим сожалением:

– Лучше бы я с современниками и не связывался! Куда как лучше иметь дело только с покойниками...

Стоило Альберту Викентьевичу появиться в конторе, как в его кабинет сразу ломились какие-то сомнительные личности, даже на лестнице они хватили редактора за рукава пальто:

– Милостивый государь, меня не забудьте!

– А если я Поликарпов, так в каком томе увижу себя?

– Господа, господа, – взывал Старчевский, отбиваясь от современников, – не все же достойны блистать в печати.

– Почему обо мне только четыре строчки, а другим-то вы по целой дюжине отвалили? Буду жаловаться.

– Меня обойдете, так вам худо станется! Я тридцать пять лет верой и правдой... служил и слу-ужу-у-у...

– Молодой человек, – зывали к совести Старчевского, – и не стыдно вам меня забывать? Я этого так не оставлю...

Среди прочих явился и граф Клейнмихель, верный ученик Аракчеева, разложив перед редактором свои ордена.

– Видите? – спросил он. – Прошу перечислить все подряд в таком же порядке, как они здесь разложены. Но при этом напишите обо мне, что имею еще дарственные табакерки...

Пред выходом XII тома, в котором явилась бы буква Ш, перед Старчевским предстал банкир Н. Б. Штиглиц, который для начала закрыл за собою двери, чтобы их не подслушали.

– Дорогой мой, – ласково сказал он, – заплачу сколько ни попросите, лишь бы мое имя никогда не встречалось в числе героев нашего бурного века. Вообще о банкирах лучше помалкивать, сами знаете, что мы любим таиться за ширмами событий.

– Да какая же была бы наша жизнь без вас, без банкиров!

– В таком случае, – настоял Штиглиц, – статью о себе напишу сам, а что можно НЕ писать о себе, поверьте, я знаю...

Наконец, нашлись и такие “деятели”, которые, узрев себя в энциклопедии, торопливо явились в редакцию за гонораром.

– Помилуйте, – возражал Старчевский, – за что платить вам, а не автору статьи о заслугах вашего превосходительства?

– Как за что? – бушевали современники, осиянные славой всеобщего признания. – Ведь если б меня на свете не было, так вы бы и не знали, о ком писать в энциклопедии.

– Опомнитесь! – зывал Старчевский. – Мало вам чести попасть в энциклопедию, так вы еще и денег просите?..

Бог с ними – с деньгами, но для иных героев важнее денег был фактор времени, ибо годы уже поджимали их на край могилы, а тома на букву своей фамилии они могли и не дожидаться. Старчевский не раз слышал от престарелых сановников:

– Вы бы это... того... поторапливались. Сами понимаете: не сегодня, так завтра, глядишь, и увезут... с музыкой!

Именно вопрос времени и то, что тома энциклопедии выходили не по порядку, а вразнобой, кажется, вынудили графа Якова Ростовцева пригласить Старчевского к себе. Будучи “особой, приближенной к императору”, Ростовцев рассуждал честно:

– Правда ли, как сказывал мне Владимир Иваныч Даль, будто ваш лексикон проходит через двенадцать цензур?

– Господин Даль малость приврал: каждый том пробивает ворота не двенадцати, а даже пятнадцати цензур. Тут и духовная, тут и светская, тут и военная, тут и морская...

Ростовцев выслушал, какие муки прошли первые тома, и хотя был очень близок к государю, но все же возмутился от души:

– Что за порядки, в такую их всех мать в размать?! Неужели я так и подохну, не дожив до выхода тома на букву Р?

В конце же беседы граф Ростовцев облобызал редактора:

– Спасибо вам, что моих заслуг не забыли. Но коробит меня, что в вашу энциклопедию, как в худую помойную яму, свалены все без разбора. И я, честный человек, вынужден соседствовать с разными ворами и мерзавцами вроде графа Клейнмихеля.

Тут Старчевский в бессилии развел руками:

– А что делать? Нельзя же делить энциклопедию на две части, дабы в одной помешать светлые личности, как ваша, а в другую запихивать всю нашу сволочь... увы, алфавит не допускает!

Очевидно, Ростовцеву очень хотелось дожить до буквы Р, ибо цензоров поубавилось. Но среди кляузных хлопот, в коих слезы перемешивались со смехом, один лишь Край благоденствовал, при каждом удобном и неудобном случае выклянчивал у Варгунина когда сотенку, а когда тыщонку. Наконец, зимою 1849 года Край остановил в типографии машины, желая получить с Варгунина две тысячи рублей – на тома с буквами Л и М.

Александр Иванович продемонстрировал ему кукиш:

– А вот такого еще не видели? Я долго молчал и терпел, поплачивая по первому вашему требованию, но вы человек бессовестный, давно потерявший всякую меру порядочности.

– А как издание энциклопедии... до конца?

– Вот тут и конец! – осатанел Варгунин, изгоняя Крайя. – Чтобы я, олух такой, еще раз с энциклопедией связался... да никогда! Убирайся со своими буквами на эл и на эм...

Старчевский с трудом пережил удар, энергично лысея от треволнений. На складах валялись груды томов энциклопедии, оборванной на половине издания, а кому они теперь нужны, если шести томов не хватает? Альберт Викентьевич долго пребывал в туманной прострации, понимая причины гнева Варгунина, сам же он душевно страдал за судьбу энциклопедии.

– Сочувствую, – сказал ему Варгунин, – но поймите и меня. Вести с Крайем дела далее – это значит вторично угробить столько же денег, сколько он из меня уже вытянул.

Итак, все было кончено, и вместо успеха – к р а х!

Уже начинался 1853 год, когда до Старчевского дошли слухи, будто Варгунин решил избавиться от завалов нераспроданной энциклопедии. Альберт Викентьевич даже не хотел верить:

– Хочет продать? А как продать?

– На пуды.

– Куда?

– На толкучку...

Старчевский не выдержал, решив повидать Варгунина:

– Верить ли сплетням, будто энциклопедия закончит жизнь на толкучке, чтобы там, разорванная на листы, она служила для завертывания в нее халвы или селедок?

Варгунин признал, что слухи достоверны:

– А как иначе, если весь второй этаж моего магазина в Гостином дворе до самого потолка забит тысячами этих томов, и мне, поверьте, уже некуда складывать свои товары.

Старчевский поплелся к дверям, но был остановлен неожиданным вопросом Варгунина – где Гедеонов?

– Пока в столице... состоит при Генштабе.

– Вот что, – решительно произнес Варгунин, – я лично вам и Гедеонову верю, вы люди честные, именно вы и способны завершить издание энциклопедии до последней точки.

– Как? – воскликнул Старчевский.

– По совести! – отвечал Варгунин. – Знаю, что капиталами не обладаете, потому я вам помогу. Берите у меня все тома энциклопедии за те же деньги, какие я хотел выручить от продажи их на рынке, и... с Богом! Тяните дальше.

Старчевского даже зашатало. Ну, ладно, типография Крайя еще на ходу, а – бумага? Варгунин утешил его:

– До самого окончания словаря открываю вам кредит на бумагу. И даже без векселей – под честное слово...

Старчевский повидал Гедеонова, но тот сомневался, не зная, где взять денег для завершения издания до конца.

– О чем вы? Сейчас самое насущное – освободить магазин Варгунина, чтобы словарь не пропал на толкучке!

Совместно отыскивали пустующий склад, куда и перевезли все тома своего несчастного детища. Гедеонов соглашался продолжать издание на полонинных издержках. Но вскоре он получил приказ – ехать в Москву заведовать военно-межевой частью.

– Оставляю вас одного и даже рубля не могу вам оставить. Тащите этот воз и далее, а Россия вас не забудет...

Старчевскому предстояло выпустить еще шесть томов. А на какие шиши? Но материалы собраны, это главное, редакцию будет представлять он сам – без помощников; если чего-либо в тексте недостает, сам и допишет. Все надо сделать как можно быстрее – в два года, и это вполне возможно, если... если не станут тянуть цензоры! Правда, не было пяти тысяч, чтобы оплатить расходы по типографии, но...

– Обо всех этих “если” лучше не думать! – внушал себе Старчевский. – Ныне самое главное – хлопотать об услугах цензоров, чтобы числом поменее, а характером податливее.

Сделав такой вывод, он напрямик отправился в Цензурный комитет, где и случилось с ним великое чудо из чудес.

– Господин Старчевский, – вдруг услышал он за своей спиной, – а куда же подевались ваши пышные волосы?

Обернувшись, Альберт Викентьевич узрел Мусина-Пушкина, нагоняй от которого забыт еще не был.

– Моя шевелюра? Так я облысел именно от непрерывного общения с вашей дерзновенной цензурой, коей вы управляете.

Мусин-Пушкин пребывал в либеральном настроении:

– Да Бог с вами! Что вы все на цензуру-то валите? Лучше расскажите, как ваша энциклопедия? Кажется, уже протянула ноги, соизволив опочить вечным сном праведницы.

Старчевский быстро сообразил всю выгодность ситуации, какая возникла в момент этой нечаянной встречи.

– Напротив, – сказал он, – энциклопедия оживает, восставая из гроба, и, представьте, она начинает дышать именно с седьмого тома... именно с буквы М!

Услышав об этой букве, Мусин-Пушкин заржал от восторга, словно давно не кормленный жеребец, издали разглядевший обширное овсяное поле. Тут и ума не надобно, чтобы сообразить, как велико было его желание угодить именно в седьмой том, дабы обрести бессмертие среди великих, собранных под одним переплетом. Мусин-Пушкин так расчувствовался, что даже погладил Старчевского по его нежно-розовой лысине.

– Страдалец... скажите, что вам надобно? – Редактор пояснил, чем именно вызван его приход в Комитет. – Так я, – запальчиво отвечал попечитель, – дам вам целый легион цензоров, которые будут читать букву М с утра до ночи!

Старчевский опытно ковал железо, пока оно горячо:

– Дайте двух, но чтобы не тянули дело.

Выход тома на букву М теперь решал все. Мусин-Пушкин даже прослезился, ощутив собственное величие:

– Считайте, что седьмой том цензурой уже одобрен...

Вот и прекрасно! Объехав множество типографий столицы, Старчевский всюду получал отказ, ибо нигде не было шрифта боргес, каким печаталась энциклопедия ранее. Пришлось навестить опять-таки Крайя, которого шадить не стоило:

– Карл Карлович, водить меня за нос, как водили Варгунина, вам не удастся. Теперь дело в моих руках, а все претензии Варгунина к вам стали моими претензиями. Буду предельно краток: необходим ваш боргес, дабы продлить издание энциклопедии.

Край сделал отвлеченное лицо, следя за полетом мухи по комнате, и обрел дар речи, когда муха вляпалась в варенье.

– Конечно, я с удовольствием вернул бы вам шрифт, но мои стесненные обстоятельства, мои долги... увы, увы, увы!

– Где боргес, черт бы тебя побрал?

– Заложен адвокату Миллеру, коему я должен.

Старчевский просто рассвирепел:

– Сволочь ты... Карлушка проклятый! Как ты осмелился расплачиваться с долгами шрифтами, принадлежащими не тебе, а всей фирме по изданию словаря? Еще раз спрашиваю: где боргес?

Край сказал, что колоссальный запас боргеса мертвым грузом лежит в кассах наборщиков его типографии:

– Миллер не забрал шрифт, ибо не знает, как вывезти его и куда деть... Ведь там целая ТЫСЯЧА ПУДОВ.

– Ничего. Я заберу.

– У кого? У адвоката Миллера?

– Знать его не знаю. Шрифт заберу у тебя, и пусть Миллер разбирается с тобой по законам Российской Империи...

Старчевский нанял ломовых извозчиков и артель гужбанов-грузчиков, совместно с ними нагрянул на типографию Крайя, двери которой украшал могучий висячий замок.

– Ломай, братцы! – распорядился Старчевский.

“Кража со взломом”, – мелькнуло у него в голове (ибо он все-таки был юристом по образованию). Гужбанье с помощью лома рванули замок с петель – двери настезь. Тысяча пудов деликатного шрифта была свалена на телеги и доставлена в Телячий переулок, где находилась частная типография Дмитриева. Хозяин глянул на свинцовые кучи боргеса и сказал, что покупает его по пятерке за пуд, а работу будет оценивать по 25 рублей за каждый печатный лист. Старчевский кивнул, соглашаясь...

“А где я возьму денег?” – мучительно соображал он.

Гедеонов писал из Москвы, спрашивая: “Вы еще на свободе?.. Неужели не в яме?..” Шесть томов энциклопедии пошли в набор, но оплатить работу типографии Альберт Викентьевич уже не мог. Стало ясно, что словарь обрел крылья и взлетит высоко, а жизнь его издателя закончится в “долговой яме”.

– Как быть? – терзался Старчевский...

Неожиданно его навестил некий господин:

– Моя фамилия Паклин, честь имею.

– Прошу, господин Паклин. Чем могу служить?

– Это я могу услужить вам, – развязно отвечал тот. – Меня волнует появление тома на П.

– Понимаю, почему. Паклин?.. Простите, не имею чести знать вас, а моя энциклопедия этой фамилии не упоминает.

– Того и не стою! – захохотал Паклин. – Дело в том, что на днях скончался мой дядечка, известный миллионщик Прокофий Иванович Пономарев, бывший городской голова Петербурга.

– Но биография Пономарева в наборе, и мне очень жаль, что покойный уже не может увидеть ее в печати.

– Ничего! – отозвался Паклин. – Он и с того света увидит ее, за это не беспокойтесь. Прокофий Иванович так мечтал увидеть себя в энциклопедии, что на смертном одре завещал деньги на издание вашего словаря, лишь бы поскорее появился том, в котором блеснет его имя...

Итак, помощь пришла. Не от живых, так от покойника!

Но, увидев, что дело стронулось, сразу встрепенулись и живущие. Министр народного просвещения Абрам Норов, сам писатель и археолог, предписал закупить на пять тысяч серебром энциклопедию – для институтов и гимназий. Этот пример всколыхнул и графа Якова Ростовцева, указавшего, чтобы энциклопедию приобретали кадетские корпуса. Способствуя распродаже, Старчевский объявил через газеты, что цена каждого тома снижена до двух рублей, а весь комплект словаря можно купить за 25 рублей серебром. Наконец-то все было закончено, и Альберт Викентьевич сам удивлялся, что по утрам просыпается в своей постели, а не на нарах в “долговой яме”...

– Даже не верится! Теперь можно подумать и о себе.

В 1856 году он издавал журнал “Сын Отечества”, щедро украшая его портретами и карикатурами, отчего тираж сразу подскочил до 16 тысяч (по тем временам – очень большой!). Затем Старчевский приступил к изданию газеты под тем же названием – с обзором политики и научных открытий: не забывались им и новинки последних мод Парижа, а любители чтения получали воскресные номера с иллюстрированными романами. Дела круто пошли в гору. Старчевский, кажется, и сам не заметил, когда стал большим баринком, разместив редакцию в собственном доме, в котором раньше проживал знаменитый архитектор Августин Монферран. Ровно в полдень к нему в кабинет на цыпочках входила чистюля горничная – почти копия с лиотаровской картины “Кофейница”, Старчевский барственным жестом принимал с подноса рюмку бенедиктина, который и запивал чашечкой кофе. От своего важного издателя газетная челядь часто слышала:

– Вы что-нибудь соображаете? Или мне за вас думать?..

Сохранился рассказ Сергея Шубинского, известного историка, а в ту пору штабс-капитана, который послал на имя Старчевского свой очерк, тщательно переписанный от руки, а через неделю автор и сам явился в редакцию газеты, уповая на гонорар, ибо он сильно нуждался. Бедного офицера поразила богатая обстановка редакции, лепные потолки и стены кабинета Старчевского, множество картин, зеркал, бронзы и мрамора. Старчевский, ослепительно блистая громадной лысиной, склонился над корректурой и даже не поднял головы. Шубинскому он запомнился обликом пожилого человека, раньше времени измочаленного непосильной работой. Почти неприязненно он глянул на штабс-капитана и просил его назвать свою фамилию:

– Говорите, Шубинский? Хорошо. Сейчас поищу...

Старчевский долго копался в кипе бумаг на столе, извлек из них очерк Шубинского и небрежно вернул его офицеру:

– Охота же вам ерунду сочинять! Наверное, даже о гонораре мечтали? Можете забрать свою чепуху. Всего вам доброго...

Я так думаю, что Старчевский захотел много больше того, что имел, и фортуна изменила ему: в 1869 году “Сын Отечества” пошел с молотка, проданный по дешевке купцам-мукомолам. Старчевский еще барахтался в роли редактора, скатываясь все ниже и ниже. Наконец, он едва кормился в паршивых газетенках – “Современность”, “Родина”, “Улей” и даже в “Эхо”, не имевшей в публике отклика. Теперь не он, а ему кричали издатели:

– Ты соображаешь или нет? Почему нам за тебя думать?..

Наверное, старику было стыдно за самого себя, и в 1886 году Старчевский круто порвал с журналистикой, отдавшись любимой смолоду лингвистике. Альберт Викентьевич составлял словари и учебные грамматики, его “Русский Меццофанти” выдержал три издания подряд.

Генеральный штаб заказал ему серию “карманных разговорников”, чтобы русские офицеры могли общаться с турками, персами, сартрами и китайцами. Увы, языковедение плохо кормило, а словарь 27 кавказских наречий он издал уже на дотации из Литфонда. Затем Старчевский выпустил “Странник-толмач по Индии, Тибету и Японии”, специально для моряков издал “Морской толмач для всех портов Европы, Азии и Северной Африки на ПЯТИДЕСЯТИ языках”. Иногда его спрашивали:

– Неужели вы сами-то эти полсотни языков освоили?

– Иначе я не мог бы составить такой словарь. Но мечтой моей хладеющей жизни стало составление “Стоязычного словаря”, чтобы русский в любой стране мира мог общаться с жителями...

Старчевский завершал свою жизнь авторством “Словаря древнего славянского языка”, который увидел свет в 1899 году.

Это был год на самом переломе двух столетий.

Я сам чувствую, что конца миниатюры я не нашел.

Я нашел конец там, где найти его никак не ожидал.

Четверть века прошла с той поры, когда Старчевский свысока отверг очерк бедного штабс-капитана Сергея Николаевича Шубинского, ставшего генералом и главным редактором “Исторического Вестника”, столь популярного среди русской интеллигенции. Однажды в его кабинет тихими шажками вошел Старчевский, уже полусогнутый от невзгод и старости, неряшливо и почти нищенски одетый. Робким жестом просителя, словно нищий на паперти, он неуверенно протянул Шубинскому рукопись своих воспоминаний. Заискивающим голосом торопливо заговорил:

– Нет, нет, нет! Вы не думайте обо мне скверно, я заранее согласен на любые сокращения. Скажите, ваше превосходительство, что вам не нравится – и я сразу исправлю...

Сергей Николаевич рукопись принял.

– Надеюсь, – сказал, – ваша жизнь достаточно интересна, и потому мой журнал не замедлит с публикацией...

Старчевский благодарил, низко кланялся, льстиво заглядывая в глаза редактору, потом, уже тронувшись к дверям кабинета, он вдруг задержался на пороге. Губы его дрожали:

– Нельзя ли аванс? Хотя бы два или три рубля? Поверьте, я уже какой день не обедал...

Не обессудьте на просьбе.

Шубинский, к стати уж, был скуповат на авансы.

– Ну, что с вами поделаешь? – вздохнул он, душевно пожалев неудачника. – Однако не дадим же мы помереть с голоду старому литератору, который в жестокие времена умудрился дотянуть до последней буквы нашу российскую энциклопедию...

Альберт Викентьевич Старчевский умер в 1901 году.

Конечно, хорошо бы закончить привычным для нас утверждением, что вот, мол, как погибали таланты при проклятом царском режиме, зато теперь... у-у-у, как стало великолепно! Мол, теперь-то все таланты расцветают пышным цветом.

Но именно теперь вы и не сыщете имени Старчевского ни в изданиях БСЭ, ни в иных популярных справочниках.

Неужели так трудно попасть в энциклопедию?

Вольный казак Ашинов

“Апчхи, апчхи, Ашинов...” – таков был игривый рефрен шансонетки, которую когда-то распевали на бульварах Парижа.

О характере этого человека лучше всего судить по одному случаю. Юную девицу выдавали за старика, прятавшего лысину под париком. Невеста, вся в слезах, оглядела гостей и вдруг заметила рослого мужчину в казацком чекмене без погон.

– Хоть вы... спасите меня! – вырвалось у нее со стоном.

Казак снял парик с жениха и плюнул ему на лысину.

– Постыдись, старче, – прогудел он басом. – Тебе скоро на погост мчаться, а ты на невинность покушаешься...

После чего со словами “Эх, погуляем на свадьбе!” казак взялся за конец скатерти, поверх которой красовался праздничный ужин, и рванул ее на себя с такой силой, что все изобилие стола с грохотом и звоном поверглось на пол. Тут, конечно, появился пристав для протокола “о произведении бесчинства”.

– Ваше имя и положение? – спросил он виновника.

– Пиши... писатель! Ашинов я Николай, по батюшке Иваныч, а положение мое самое приятное – я есть вольный казак...

“Вольный казак Ашинов”! Кто его знает сейчас?

Пожалуй, все забыли. А между тем, этот человек ссорил великие державы, дипломаты писали о нем ноты, из-за него гремели залпы крейсеров, через пекла африканских пустынь шагали целые армии. “Только пыль, пыль, пыль – от шагающих сапог...” Ашинов – дерзко и откровенно – проник в Африку, чтобы помочь ей в борьбе с колонизаторами. Сразу же предупреждаю, что Эфиопии тогда не было – страна, известная сейчас под этим именем, называлась в ту пору Абиссинией, и я, рассказывая вам о прошлом, вынужден употреблять это старинное название.

Вольный! А вольность заводила его далеко: побывал он в Персии и в горах Афганистана; по слухам, добредал и до Индии, навещался даже в Аравию. На берегах Мраморного моря Ашинов отыскал потомков булавинских казаков, бежавших с Кубани и Дона, уговаривал их вернуться на родину. Какие причины хороводили его по белу свету – один сатана знает.

– А интересно ведь! – объяснял Ашинов.

Глеб Успенский в пору своих блужданий встретил Ашинова в турецкой столице, и Николай Иванович поведал писателю о своей сокровенной мечте – проникнуть в африканские дебри.

– Сейчас ведь как? – рассуждал он простецки. – Все туда лезут, всех обижают, а нам, вольным казарлюгам, сам Господь Бог велел – чтобы заступаться за обиженных...

Ашинов произвел на Глеба Успенского очень сильное впечатление, с его же слов он написал этюд, поведав читателям о “вольных казаках”, для которых воля дороже всего. Это правда. Ашинов начальства не терпел: сам себе голова, а дело ему всегда находилось. Еще во время войны за освобождение Болгарии, когда вражеский флот курсировал возле Сухуми и Поты, турки тайком вооружали черкесов, чтобы с их помощью присоединить Кавказ к владениям своего султана. Ашинов быстро собрал ватагу бездомной вольницы, с которой и охранял побережье. Ни денег, ни орденов его казаки за храбрость не получили, да и не надо им ничего! После войны изменники-черкесы разом отхлынули за рубежи, а их земли остались взапуске. Черноморская вольница избрала Ашинова в свои атаманы. “Мы сами порядки держим, – рассказывал он, – и на кругу расправа короткая: чуть что не так, шашкой хлестанул по затылку – и делу конец!” Ашинов имел опору в тех людях, что в давние времена назывались “сарыню” (голыть-

бой), а позже одного из таких типов молодой Максим Горький вывел в большую литературу под именем *Челкаша*...

Иван Сергеевич Аксаков, горячий патриот и писатель, вскоре после войны принял у себя в Москве атамана Ашинова:

– Как вы нашли меня? И кто вас прислал ко мне?

– Прислал инженер Валериан Панаев, потому как вы писатель и всякие там ходы-выходы знаете... Помогите вольным казакам осесть на землях черкесских. Ни кола ни двора у нас нету!

В 1883 году об Ашинове заговорили в газетах. Валериан Панаев писал, что обнаружил в атамане “необыкновенную удаль, ясный взгляд на вещи, безотчетное стремление искать борьбы с препятствиями, в чем, кажется, и заключается весь смысл жизни подобных людей...”. Аксаков свел Ашинова с влиятельными людьми, правительство выдало казакам денежную ссуду.

– В кредитах потом отчитаетесь, – сказали атаману.

– Ладно уж... не пропьем, – посулил тот в ответ.

Возле Сухуми казакам нарезали земли под посевы. Не успели они оглядеться, как нагрянули чиновники – драть налоги; вольница все начальство побила; прислали к ним и бухгалтера, чтобы счетоводство завести, казаки и бухгалтера прогнали.

– Шнуровые книги – смерть наша! – провозгласил Ашинов. – Дела надо не по указам вершить, а только по совести...

Как раз в это время русская армия всходила к орлиным высотам Кушки, и прозрачный воздух афганских гор был напряжен до предела в ожидании войны с Англией. Ну, а коли где драка – там без казаков не обойтись! Ашинов снова появился в столице, поверх чекменя таскал какое-то драное-предраное пальтишко с облезлым бобровым воротником, строил грандиозные планы.

– Я только свистну, – обещал он военному министру, – и сразу четверть миллиона незаконных сбегутся. Армия пушай по печкам валяется – мы, вольные, сами с англичанкою справимся. Нам бы денжат самую малость да оружие с добрыми прицелами...

При этом разговоре в кабинете министра присутствовал какой-то красивый генерал в сером мундире. Он отрывисто спросил:

– Что это значит – свистнешь “незаконных”?

Ашинов растолковал, что атаманист над теми, кто паспортов не имеет, нигде не прописан, живут где придется, спят под лодками, гужбанят на пристанях, – вот они и есть “незаконные”.

– А ты знаешь, кто я таков? – спросил генерал в сером.

– Не припомню, чтобы встречались.

– Еще бы ты помнил! Я – родной брат царя, великий князь Владимир... Вот я сейчас тоже свистну, и вбегут сюда мои “законные”, которые тебя за нахальство в тюрьму запишут, и будешь оттуда в шелку поглядывать. Какое ты имеешь право хвастать, что управляешь четвертью миллиона людей, если власть надо всеми народами империи принадлежит моему брату?

На эти угрозы Ашинов отвечал иносказательно:

– Кто у нас свистит, а кто на Руси и посвистывает...

В гостинице его разыскал британский военный атташе:

– Будем откровенны. Родина относится к вам, как мачеха. Вы живете на птичьих правах... Хотите денег? Хотите оружия?

Выяснилось, что деньги можно получить в Константинополе, а оружие... оружие потом! Но атташе не проболтался в главном – ради чего он вербует казаков? Ашинов сразу навестил инженера Панаева, рассказал ему о визите атташе, Панаев оповестил об этом Аксакова, Аксаков информировал Хитрово (русского консула в Каире, проводившего отпуск в Петербурге); из лейб-казачьих казарм был зван ради совета умный полковник Дукмасов. Сообща решили:

правительство в это дело не впутывать, а на уговоры атташе поддаться, дабы выявить коварные планы Англии!

Атаман дал Панаеву прочесть письмо от своего “круга”: голытьба писала ему, чтобы бросал Питер к чертям собачьим, ибо нашлась для них веселая работа – скакать до Абиссинии к негусу Иоанну, и там станем сокрушать врагов арапских. Панаев не слишком-то верил в эти заливчатские казачьи фантазии:

– Сейчас, брат, ты с британским атташе поезжай в Турцию!

Ашинов поехал. Но в соседнем купе – под видом богомольца – его сопровождал полковник Дукмасов, который ни разу не выдал своего знакомства с атаманом; потом плыли морем до турецкой столицы. В Константинополе Дукмасов встречался с казаком тайком – чаще всего в кофейнях; однажды Ашинов сказал ему:

– Денег мне дали. Много. Еще по десять ихних фунтов на кажинное рыло сулят, но расплата уже в Кабуле; там и вооружат для войны на Кушке. А еще англичане засылают большой корабль с оружием на Кавказ и хотят через своих тайных агентов все там перемутить, как при Шамиле было... Чуешь, полковник?

С этим известием Дукмасов нагрянул к русскому послу в Константинополе, доложил о готовящейся провокации англичан.

– Не верю, – отвечал посол. – Англичане джентльмены.

– Что надо, чтобы вы поверили? – спросил Дукмасов.

– Мешок с деньгами от Ашинова...

Ашинов ночью проник в посольство и предъявил послу деньги, полученные от британского посла – сэра Друммонда:

– Вот эти тридцать сребреников. Но мы же не иудины дети!

– Если так, – отозвался посол, – сдайте их в казну.

– А на какие шиши я до негуса Иоанна доберусь?..

На английские деньги, выданные для конфликта в Афганистане, атаман поехал в Африку, а Дукмасов отыскал на Афонском подворье вольных казаков (они были все при лошадях, оружие держали в чехлах). Узнав от полковника, что их атаман через Суэц плывет уже Красным морем, они проворно седлали коней.

– Тут недалече, – говорили казаки. – Через Сирию, через Палестину... Язык-то на што ладен? Он до Аддис-Абебы доведет!

Не страшась дальних дорог через прожаренные солнцем пустыни, казаки попарно выезжали за Афонские ворота.

– Ребята, вам же по пути и море встретится.

– Это мы знаем... да и что нам море! – отвечали казаки.

Религия тогда играла в жизни народов немалую роль. Русские паломники толпами отплыли из Одессы в Иерусалим, и там, в гостиницах христианских монастырей, они почасту живали вместе с эфиопами. Отвергаемые европейцами как “нечистые”, сыны древней Абиссинии находили приют среди русских людей. Таким образом в Абиссинии знали, что далеко на севере живет добрый народ – русские, а в глубине крестьянской России простонародье ведало, что за морями и горами библейскими живут “православные” арапы. Абиссиния восприняла христианство раньше, нежели оно проникло в сознание европейцев. Страна имела очень богатую и, я бы сказал, чересчур “пышную” историю. Нет таких красочных эпитетов, которых бы ни прилагали к “Земле царицы Савской” – той самой, что пленила мудрого царя Соломона! Отстав в цивилизации от народов Европы, Абиссиния зато во многом обогнала другие африканские народы. Когда-то страна была столь могуча, что веками не имела врагов, и великий негус-негести (царь царей Давид II) велел воинам за неимением противников стегать под собою землю; эфиопы без жалости сжигали сразу по десять возов церковного ладана, и благовонный

дым столбом возносился к небесам... Все это в прошлом. Но и теперь Абиссиния – единая в Африке страна! – сумела устоять перед натиском европейских колонизаторов. Двадцать миллионов населения. “Копилка” благословенных сокровищ земли, где есть все – от мускуса до золота. Какой лакомый кусок для захватчиков! Колонизаторы уже давно готовы наброситься...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.